

Б И Б Л И О Т Е К А

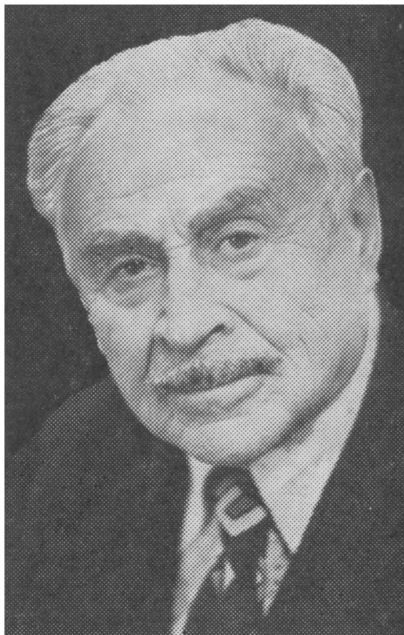
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 11

1983



Вадим САФОНОВ

ВСТУПЛЕНИЕ В МИР

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 11

Вадим САФОНОВ

ВСТУПЛЕНИЕ В МИР

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

**Москва. Издательство «ПРАВДА»
1983**

Вадим САФОНОВ

Вадим Андреевич Сафонов родился в г. Керчи 27 декабря 1904 года. Отец, изыскатель и строитель железных дорог, товарищ инженера К. Л. Книппера, брата О. Л. Книппер-Чеховой, младший товарищ Н. Г. Гарина-Михайловского, вышел из крестьянской семьи: дед был крепостным, родня осталась деревенской. Вадим Сафонов начал трудовую жизнь с 16 лет — служба добровольцем в Красной Армии, рыбные промыслы, сельская мельница. В 1923 году приехал в Москву учиться и стал печататься в газетах, журналах. Был затем на научной работе — Коммунистический университет преподавателей общественных наук, Тимирязевский научно-исследовательский биологический институт. С 1941 года — член Союза писателей СССР.

Первая книга вышла в 1930 году, за ней последовало 37 других, общим тиражом свыше 3 миллионов. Широко известны «На горах — свобода!» (1-е изд. 1936), «Дорога на простор» (1-е изд. 1945), «Неведомая фреска» (1967), «Повести о морях и суше» (1968), «Песок под босыми ногами» (1975), «Вечное мгновение» (1981).

Ряд книг Сафонова переведен на языки народов СССР и во многих странах за рубежом. В 1982—1983 годах изд-во «Художественная литература» выпускает собрание его сочинений.

В последние годы писатель много работает над мемуарами-рассказами о встречах с замечательными людьми на протяжении долгой жизни. В «Страницах воспоминаний» читатель найдет живые впечатления о встрече с Валерием Брюсовым, о Маяковском, о последнем в жизни выступлении Сергея Есенина.

Вадим Сафонов — лауреат Государственной премии СССР.

ГОРОДОК

На память о времени, настолько давнем, что едва веришь, да существовало ли оно когда-нибудь, висит у меня на стене со следами всяческих жизненных передраг картина-фотография. Темные, уверяли — серебряные, факсимиле рассыпаны кругом по ее раме — подписи тех, кто снялся группой, провожая отца с работы.

Это 1912 год. Станция новой тогда Северо-Донецкой дороги в нескольких верстах от крошечного городка Льгова Курской губернии.

Снялись станционные рабочие, десятники, конторщики. Имена некоторых, близких отцу, так часто повторяли в нашей семье, что мне кажется — я узнаю их; двоих хорошо помню: братья-вятичи, дорожные мастера Игнатий Никанорович и Василий Никанорович Смертины; большинство мне неизвестно.

Металлические черточки факсимиле очень тонки: темные паутинки. Есть пустое место. Говорили: тут была даже золотая роспись полностью «Татьяна Закс». В возмещение, что не снялась. Кто она, не знаю, не помню. Никакой золотой подписи нет и в помине.

В группе среди многих вижу дядю Ваню. Это вовсе «свой», двоюродный или троюродный дядя, работавший вместе с отцом. А у ног отца на расстеленном сене два маленьких мальчика: я и брат Юра, двумя годами младше. Все расположились на открытом воздухе, сзади — столбики террасы, кирпичные стенки станционного дома.

В нем почти и не пожили. Постройка дороги закончилась, и отец, железнодорожник-изыскатель и строитель, прощался со станцией и с товарищами, чтобы уже навсегда вернуться на родину, в Керчь, где родились и он со своими братьями и сестрами, и вся семья матери, и я, старший сын.

Станционный дом выстроен близко от путей, в нем была и контора 1-го участка дороги, а в квартире — роскошь, ванна, до того мной не виданная. Нагревалась она дровяной колонкой, и в ней застоялся ремонтный, нежилой, но укромный, приманчивый и теплый запах эмалированной краски.

Зимой снег толсто, пахуче и свежо лежал под самыми окнами, с глубоко протоптанными тропинками. А когда он стаял, открылось

совсем рядом даже для меня, ребенка, так что было видно между деревянными голубенькими столбиками терраски, место, которое называли «трясиной»: бугры-кочки окружали мутное окошко, откуда время от времени раздавался низкий, всасывающий, стонущий звук. Живой? Мертвый? «Бучит бучило», — говорили о нем.

Пустое и светлое небо долго стояло вечерами в окнах. Слепли стекла, и глухой ночью то с одной стороны, то с другой жутко, весело подымалось зарево. Где-то далеко-далеко, за селами и деревнями, чьи названия изгладились из моей памяти. Горели подоженные барские усадьбы, поместья. И зарево, чудилось, одно на весь мир царило в поздний глухой час, вырастая на ночной свободе и просторе, будто из своей дали гигантским шагом подступая к самому дому. Багровый, живой, шевелящийся отблеск захватывал от пола до потолка всю стену комнаты, полной золотистой пылью зыбкого, пустынного света.

Лето. Сушь. Сизые плети арбузов реденько раскидывались по чернозему на окрестных полях.

А мимо ограды палисадника тянулись куцые, высоко крытые мешковиной возы, стеля за собой тягостное сладковатое удушье: с сахарных заводов вывозили жом. Зловонный дух медленно расходился, и тогда опять проступал слабый, постоянный, влекущий и будоражащий запах курного угля, паровозного дымка...

Но все это было, повторяю, уже в «последние времена», перед отъездом навсегда из Льгова. Все, в том числе и горка, где в тепльни можно было сидеть на пожухлой, опаленной огненным дыханием траве или прямо на желтых проплешинах земли. Сидеть, следя во все глаза, как через громадные растворенные ворота выкатываются на пучком расходящиеся пути особенные, невиданные паровозы новой дороги, а какая-нибудь одна черно-зеленая, с тусклым отливом машина, kloкочущая раскаленной жизнью внутри, вдруг станет как вкопанная на поворотном круге, чтобы неведомая сила, точно взяв ее в свои ладони, смилив, начала, будто игрушку, плавно поворачивать, направляя передом, носом в некую нужную сторону — пока обрывок рельс на круге не совпадет с нужной колеей снаружи. И важней всего было смотреть, чтобы ничего не упустить в этом диве, восторженно вдыхая курящийся вверх, саднящий, сернистый, курной дым...

Так это было во «вторую» льговскую жизнь, начисто отрезанную от «первой» — не на станции, а в самом городке.

Жили тогда на верхнем этаже двухэтажного дома на Соборной площади.

Выставлялись в апреле вторые рамы, и сразу, скачком, приближалась площадь, гомонящее кишенье базара, скрип телег с черно лоснящейся колесной мазью на осях, торбы на мордах переступающих ногами лошадей, серый с пробелями обкатанный булыжник между мазками бурого от навоза снега.

И на той же площади была торжественно-гулкая от колоколов пасхальная ночь, цветная от бенгальских огней, с хлопучками взлетающего, крутящегося фейерверка.

А потом надолго заливала весь кругозор тишь.

Лиловый закат, и за рожью, матово темневшей невдалеке, показывался поезд «старой» Киево-Воронежской железной дороги, несколько пестрых вагончиков, на колесиках как на ножках (так рисуют дети), и солнце, уже невидимое, скрытое сосновым бором, еще выхватывало на мгновение колечко дыма, летящее над медленным, казалось — почти недвижимым, поездом-коротышкой.

Помню и острый, смолистый, в знойные дни скипидарный запах в том сосновом бору (существует ли он?), плотный, округлый куст или деревце в подлеске, и как, раздвинув темно-зеленую стеночку живого шатра, ахнешь, очутившись в сумрачной пустой пещерке с нечистыми человеческими следами на убитом, усыпанном ржавой хвоей полу...

А из растворенного по-летнему окна я видел, слышал и никогда не забуду, как городской вел, волочил пьяного и через каждые два шага сбивал его кулаком — он падал плечами и головой вниз с тротуара на мостовую (тротуары, очевидно, были высоко подняты над мостовой, как мостки), затем, сгребши, ставил на ноги, пихал перед собой и опять через два шага сбивал ударом кулака в затылок. Человек не стонал, не кричал, не оборонялся — лишь, с окровавленным лицом, повторял одно и то же, все те же три слова: «Я сам пойду... я сам пойду!» Не он, а я, четырех-пятилетний, не найдя в себе сил досмотреть чудовищные «кошки-мышки» человека с человеком, криком закричал, отшатнулся от окна...

А здание тюрьмы с решетчатыми окнами виделось мне самым высоким в городе. Ну, может, чуть пониже собора. Стояло оно на окраине, на краешке, но видно было (так думалось мне) отовсюду. Потому, верно, что резко отличалось ото всех домов. Даже отделялось широкой лентой ничьей земли — стояло само по себе. Было это именно «здание», не дом. Ни крылечка, ни ступенек, ни какой ни есть резьбы на фасаде: глыба, куб. Тускло и грубо землисто-серое, то есть никакого цвета. Как халаты арестантов. Только те полосатые. Где я видел их? В окнах, за решетками? Нет, еще и на каких-то пустырях у реки. Шли одетые не как люди, так, как и не ходят люди: понуро, гуськом. Или по двое в ряд. Не шли: отделив от всех людей, их, нелюдей, гнали, перегоняли откуда-то в землисто-свинцовую глыбу — не дом.

Точно так же на краю был и кладбище. Возможно, то был совсем другой край. Но так выходило для меня, что если тюрьма и оказывалась с чем-то связанной в этом очень маленьком городке, то именно с кладбищем.

Мы сидим на зеленой крашеной скамейке либо просто на траве. Трава высока, она выше меня, сидящего. Очень много пестрых цветов. Громадные лопухи — хоть ложись на них. Больше нет нигде таких,

лишь в одном здешнем месте, куда везут то, что было живущим в городе человеком, а сейчас это все тот же человек, можно узнать, хоть стал он отчего-то нечеловечески пугающим. И потому нужно его скорей зарыть, закопать, засыпать яму и еще подсыпать над ней удлиненный холмик. Если взять в ладошку склизкие комки с холмика, то легко выжать капельки, мутные струйки. Вот зачем голый холмик покрывают квадратиками дерновин с короткой травой — их вырезают четырьмя взрезами лопатой, а на пятый раз той же лопатой подхватывают. Квадратик с квадратиком срastутся, швы заживут. И тогда то, принесенное на поднятых руках с пением и сизо курящимся ладаном несколькими черными фигурами, — непременно черными, — выйдет наконец по-настоящему спрятано.

В доме, где мы живем, под нами — магазин Руденко. Чего там только не выставлено — бутылки всех фасонов, снедь, какой никогда не бывало у нас за столом, открытые белые бочоночки, наполивину полные тягучим красным и черным, взрезанный окорок с коричневой корочкой, длинные, с рылами-шильями рыбы, усаженные костяными бляшками!

Однажды, налюбовавшись всем этим через стекло, взбежали мы по лестнице, но нас не пустили к маме, нельзя ни мне, ни братику, и отец не вышел, сновали, хлопали дверями незнакомые женщины, выносили тазы с красной водой от чего-то, скрученного в жгуты...

Родился третий мальчик в семье, его назвали Толя.

Мать встала не сразу, а когда начала выходить, взяла с собой в мануфактурный магазин Коншина наискосок от нас. Говорила о простынях, рубашечках.

Чего бы проще Коншину показать что надо — и дело с концом?

А он со стуком снимал с полки одну тугую штуку за другой, с треском точно распечатывал их, высвобождая строгий фабричный запах ткани, — пока прилавок не превратился в волнующееся море. Так, что-то приговаривая в промежутках между уважительными паузами, во время которых красноречиво шевелились его руки, долго держал Коншин единственную покупательницу — никто больше не входил в лавку. Да и та, единственная, купила только то, за чем пришла, — напрасен был его труд.

В городке жило шесть с половиной тысяч человек.

Местный поезд из губернского города, куда однажды я, старший, ездил с отцом, приходил ночью. Свеча в вагоне нагорала и коптила, и словно мигало окно всем черным стеклом. Внезапно за ним, в пустом провале отец указал на три слабеньких, стоячих поодаль один от другого огонька.

— Смотри: подъезжаем! Собирайся, пора.

Тоскливо, до озноба, было смотреть на них — три одиноких огонька в чернильной тьме! Казалось, нет и ничего не может быть воле них. Никакого города...

— Что с тобой? — спрашивал, не понимая, отец.

Но солнечным утром прямая улица, как прежде, сбегала к мосту через Сейм. Что там такое, отчего народ? Юлит ялик, лодчонка, выписывающая петли и восьмерки. Моторчик хлопотливо стучит на корме. А в лодчонке битком набито людей — вот-вот черпанет бортом! Конечно, все узнают — исправник с семейством и, верно, с особо приглашенными. Сам на носу, руки уперты в колени, раскатываются командные покрики. А сын на корме, суетливо кладет лево руля, право руля — ялик плетет и плетет вензеля все около моста, чтобы покрасоваться, погордиться перед народом: глядите все, диковинка с моторчиком, моя!

За мостом, на низком берегу княжеский сад, парк Барятинского.

А дальше поля, луга, перелески, сухие скаты, топкие лощины.

Маленькие норочки, развороши палкой — выскочит, прячась до последнего, притиснутый под землей мохнатый паук, яростно вцепившись в палку.

— Ха-ха! — смеется дядя Ваня, отбирая палку. — Был тарантул — и нет. Я-то их знаю!

— Конечно, тарантул! — подтвердил отец. Неизвестно, попадались ли ему когда-нибудь тарантулы. Но я уверен, что он, а не дядя Ваня, знает все про них.

— Лучше всего они ловятся на восковой шарик, — словоохотливо продолжает дядя Ваня. — Ты слушаешь, нет? — наклоняется он ко мне. — Хочешь, расскажу — как? Ну вот, понимаешь. Берешь шарик на ниточке...

И все кончилось сразу, обрывом.

Не помню первого времени мучительной болезни — комнатный затвор казался бесконечным. Постель со сбитыми, горячими простынями. Ни утра, ни вечера. Кашицы, отвары, не идущие в горло. Размазанные по лицу слезы, свой пресекающий голос, обиженный, капризный — отчаянный при жестоком приступе. Желтый, полосующий тьму свет от торопливо зажженных свечек посреди ночи, испуганная беготня — пока не начнет сочиться тусклой бледностью, мутно сереть краешек окна...

Я не знал, что один из трех или четырех городских врачей, Гартенштейн, твердо сказал матери:

— Резать боитесь? Как угодно, иного нет. Когда? Еще подождать? Месяц, два назад надо было, при первых признаках — вот когда! Не хотите здесь оперировать, опасаетесь — ваше дело. Увозите. Только сегодня, завтра — не ручаюсь за послезавтра. Пения-молебствия —

тут я не вмешиваюсь, не касаюсь, однако хирурга они не заменят, это я вам заявляю!

Как жадно я глядел по дороге к старому вокзалу на улицу, бегущую к реке, дома, малиново рдеющие по верхам, на людей, вышедших вечерком поклоняться, посидеть у ворот, на двойной ряд узловатых, дуслистых ветел по сторонам вокзального шоссе — коряво вздутые низкие стволы, ветви, спутанные в нависающую шапку, вороньи и галочки гнезда... Будто век ничего этого не видел! И поезд впереди, ночь в вагоне — все детство я, да братья не знали ничего заманчивее, таинственнее; железная дорога, пути, вагоны, стрелка, голоса паровозов, люди-путейцы были для нас волшебными отделенными ото всего на свете.

Но что-то сейчас помимо воли проникало в сознание — верно, от выражения лиц тех, кто вез меня, даже от сахарных улыбок, какие появлялись тотчас, как только обращались ко мне, и следом тотчас исчезали...

И лишь когда слева, сбоку вымахнул паровоз, с немислимой скоростью меряя, отрезая и кидая назад что-то складным шатуном, и пахло угаром, а бежавшие впереди других маленькие колеса-бегунки замерли перед платформой, где все вдруг зашпешило, засновало — именно по этим двум с красными ободьями бегункам, горячим от бега, под секущей струей пара я вмиг, толчком понял, что вот он, конец всему, что видел, знал, что было жизнью.

Город, куда меня привезли, Москва, весь свелся к клетушке в четыре шага, мелькнувшим улицам с конкой, еле замеченным (жар у меня поднялся до сорока), — и в тот же день в больнице — лунно-млечная полусфера рентгена, затем смертно-душущая хлороформная маска: операция была трудной, затяжной — болезнь тяжело залуцела... А после долгое лежание в палате, и опять клетушка.

Однажды в ноябре, когда, казалось, вовсе не стало дней, в четыре зажигали огонь — окошко почти закупоривала слепая, угрюмая, слезящаяся стена соседнего дома, — мама вернулась из города и сказала:

— Умер Толстой.

Никогда прежде я не слышал (или не запомнил?) такого имени. Почему же до сих пор живо во мне жутковатое ощущение, что охватило при маминых словах? Мало ли кто умирал... Быть может, опять выражение лиц мамы, тетки, интонация голосов? Да, наверно, и так. Но не только. Хочу быть предельно точным — ведь вспоминаю о смерти Толстого. О том, что случилось, как мал ты ни был, на твоей памяти.

Психика ребенка не проста — возможно, с высоты своего зрелого возраста мы склонны упрощать ее. Сколько серьезных, очевидно, важных вещей скользит мимо души ребенка, оставляя ее равно-

душной, и куда более она ранима, чем будет потом, во всей предстоящей жизни!

Что я вообразил себе? Поразила фамилия: «Толстой», то есть громадно-огромный, как те великаны на картинках в книжках сказок, — и все-таки умер! Не избежал, попался, схватили и понесли в лопухи.

Лежал я долго, месяцы, сколько-то времени в бревенчатом доме «далеко от Москвы», «среди густого леса» (а это был Серебряный бор!)

Вижу теперь, как быстро я менялся. И не оглянись, как восходит ребенок по ступенькам своего взросления. А такая болезнь напрочь отсекает бывшее прежде от настоящего.

Тот мальчик, кого встретили наконец отец и братья в другом, новом, станционном доме, и сам стал совсем другим.

Уже не только слушал сказки, но гордился, что научился читать. Прочел книжечку о нашествии двенадцати языков в двенадцатом году, очень носился с книжкой про великана Антея — и как жалел Антея (вопреки намерениям автора, пересказавшего миф!), как ненавидел убийцу и злодея Геркулеса, со злым коварством оторвавшего Антея от земли!

И отошла, больше и больше подергиваясь непрозрачной дымкой, та «старая» жизнь на Соборной площади.

По-своему заходяйничала память.

Выдернет и кинет прочь нитку — вроде бы самую яркую. И бережно отложит совсем бросовую, никчемную.

Так и хранит с тех пор, например, пустяк, вовсе ничего. Несколько словечек, подхваченных на улице.

Народу — кот наплакал, целыми часами пусты улицы.

Идет солдат. Привычным солдатским шагом. И вдруг крутой поворот налево. И что за радость на его лице! Смеются, морщась, губы, усы, даже чубчик из-под фуражки с кокардой. Из-за угла в проулок выходит... Все были тогда Взрослые, Большие, чуть не Пожилые, но думаю — встретилась солдату молоденькая девушка. И точно такая же радость ответно засияла на ее лице.

Он не шагнул — рванулся к ней. Взял в свои обе ее руки. И громко произнес, глядя глаза в глаза, вот какие слова:

— Здравствуйте, мое почтение, здоровы вы али нет?

Удивительно, что как сейчас слышу их, — и певучий, складный говорок, каким они были сказаны. И еще удивительней, что ничто, пожалуй, не дает мне такой меры пролетевшего времени, зазиявшей с тех лет бездны, как эта, невозможная и нарочитая на наш слух говорком сказанная фраза «по Островскому», а тогда — простое уличное приветствие, обычная вежливость при встрече с девушкой, вчера, верно, незнакомой, и которая станет, уже становится дорогой.

Точно заглядываешь в бездонный колодец.

Еще далеко до войны четырнадцатого года, и ничегошеньки не ведал про нее встретившийся с девушкой солдат.

А Лев Толстой был жив.

В САДУ, ПРИ ДОЛИНЕ...

Как родилась одна песня

Внезапно она облетела страну.

И где только не раздавалась! От Белого моря до Крыма, от западных границ до Дальнего Востока, в столицах, городах, больших и малых, пели ее тонкими ребячьими, ломкими юношескими и чистыми и грубыми голосами. Пели в поездах — и в тех особенных, что назывались «максимками», — в трамваях, на улицах.

Длилось это года четыре, лет пять.

У песен есть срок жизни, бессрочно, в сокровищнице народной памяти, сбережены очень немногие, но и те отходят как бы в тень — яркая некогда вспышка сменяется малым огоньком.

Эта же исчезла сразу, круто — как и появилась, вместе с исчезновением явления, родившего ее.

Но «вспышка» ее была поистине ярчайшей — должно быть, не оставалось никого тогда, в чьих ушах не звучали, в чью память не запали бы слова и мелодия — настолько, что и теперь кто дожил до нашего времени, помнит их.

Редчайший случай свел меня с тем, кто признавал себя автором ее. Говорю «редчайший» — почти никогда не удается отыскать начало безыменных, устных, широко разлетевшихся песен — песен, что вдруг запевают тысячи и тысячи людей. И легко понять, как это каждый раз поучительно и интересно.

Мне следовало давно рассказать о встрече. Но вот делаю это лишь сейчас — и словно вновь воскрешаю для себя бесконечно далеко ушедшее время.

Перевалило с той поры уже за полвека.

Но сохранились у меня тогдашние довольно подробные записи, даже неумелая, старательно вычерченная карта косы Тузла — опора и помощники памяти.

Я работал на рыбных промыслах на Тузле, она же Середняя.

До этого я, зеленый юнец, успел побывать уже в библиотеках, затем в красноармейцах-добровольцах — до большой демобилизации армии после гражданской войны. Тогда я отправился в деревню Адже-Эли в тридцати верстах от города — поступать на мельницу...

Коса Тузла — ее больше не существует — прилеплялась своим корнем к кубанскому берегу, откуда она, то расширяясь, то сужаясь до нескольких десятков сажен (в быту считали еще на сажени, а не

метры), тянула свое как бы зигзагообразное тело верст на десять-одиннадцать (опять-таки мерили верстами), завершаясь крошечным островком Бакланкой, и до мыса старой керченской крепости оставался просвет всего версты в три.

Здесь, теснясь, двигались веснами и осенью косяки сельди сперва на нерестилища из Черного моря в Азовское, а потом — обратно из Азовского в Черное. Вот почему и было тут исконное место лова, как и на другой косе, Чушке, севернее, при горловине Азовского моря (Чушка и Тузла обрамляли керченскую бухту). Рыбачья «посуда» — аламань, скипасти, гигантские, на сотни метров, волокуши с громадной слепой «мотней»-ловушкой — перенимала рыбу.

Тогдашняя работа рыбака мало походила на нынешнюю с ее высокой механизацией, радио, радарам, мощными судами, бороздящими океанские волны.

Флот был — дубки, шаланды, баркасы. Двигатели — весла, парус. Механизм — свои мускулы.

В а т а г и рыбаков, или, как называли у нас на юге, р ы б а л о к, во главе с а т а м а н а м и переселялись на время путин из деревень под Керчью, битком набиваясь в з а в о д ы. Это низенькие хатки, а то так земляные балаганы. Стояли они на Тузле у самого узенького конца ее.

Шли нелегкие годы, сколько скудости и всяческих недостат в быту, и я гол как сокол. Но сквозь все пробивалось, властно окрашивая в свой цвет, одно главное чувство. С ним работал; с ним вставал, с ним уходил в штормовое море. Это чувство — я не умею определить иначе — радостного кануна. Громадного, стоящего у порога з а в т р а. То было не мое личное, но — знаю и уверен — общее чувство. И это было счастье. Оглядываясь через десятки лет, вижу ту трудную, ту радостную пору моей жизни, окрашенную в этот цвет, цвет счастья.

Жестокие штормы, особенно частые как раз в весеннюю и осеннюю путины, загоняли людей в заводы.

И вот я вижу завод в жестокий шторм.

Под низкими потолками люди выглядели великанами — в грубых топорщащихся полушубках, подпоясанных обрывком мелкочаечистой сети, связанной толстым узлом — концы мотались, в высоченных, до паха, забродческих сапогах, именно на великанью ногу — голенища оседали складчатой гармоникой. Душно, от печурки сочился дымок, приванивало рыбой, рыбы чешуйки у иных и на усах, вместе с жеваным желтым окурком, прилипшим к нижней губе.

А снаружи все просвистано ветром, клочья летящей пены бьют в крошечные мутноватые оконца.

Люди сидят кто на чем, некоторые лежат на нарах в два этажа, куря, лениво цедя фразы. Вот и атаман, скорчась, притулился на чурбачке, кинул два-три слова, и чистый молодой голос запел:

Все тучки, тучки повисли,
А с моря пал туман...

Старик у печурки сунул в дверцу охалку камки чуть не больше себя, подпихнул ее чеботом — печурка заглохла, едко задымила, пробились суетливые красненькие червячки, и вдруг взревело пламя, играя по щелям накалившейся до румянца дверки, ярко засветилось поддувало. Старик большой ложкой стал мешать в казане, откуда полился дух картошки, размятой с водой, конопляным маслом и малыми кусочками сала.

— Дед Никанор! А, диду! Як же ты — и руками и ноженьками зараз робишь?

— У казана такой швидкий, чи, примерно, доведись — и у бабы, а, скажи, дидусю?

— Тю тебе! Молоко матыной титьки с губ оботри!.. — отругивается кашевар. И балагурит: — А я и н а в с и д е ч к и и н а в л е ж е ч к и!

...Скажи, о чем задумался,
скажи, наш атаман!.. —

выводит песня.

Атаман же возвысил голос:

— Середа! Гундосишь-цокочешь, а у хлопцев животы подвело. Швидкий! Такого швидкого жинка и в ворота не допустит.

Так уж сложилось, что летели в старого Никанора Середу стрелы нехитрого остроумия, развлекая хлопцев в бездельные часы. И все на один манер: «баба, жинка». А верно, и внуки переженились у него, да и жива ли у старика жинка? Обижался или нет, но отвечал с добреньким хохотком, услужливо веселя целивших в него.

— А вот зараз, а вот я и зараз. Миски-плошки давай, насыпай-наливай, ложку воткнешь — стоит, и сыты будем, и блохи наши...

— А хлеба?

— Трошки. Трошечки. Две буханочки. Как разделять — кто половчей?

— От то шамовка!

— Какая жратва без хлеба?

— Так ты меня и из штанов вытрясешь...

— Цыц вы! — опять прикрикнул атаман. — Погоду из-за вас, хлопцы, и ту не слышать — чи грукнет она в окно, чи кто. Вот слушайте ж...

В Керчь морем не побежишь, да и оттуда сейчас не больно дожدهшься. Слышно, большой дряхлый катер Главрыбы вытащили на землю, стучают по днищу; пока еще снарядят другое судно... Так что, не дожидаясь, сами споняем в Тамань за хлебом-салом!

До Тамани 18 верст. Подвода подвертывалась не всегда. Я вызывался охотно, пусть пешком, — в Тамани, близ памятника запорожцам, жил школьный мой товарищ Миша Певнев. Мальчик из казачьей семьи, он в классе выделялся твердостью характера, серьезной вдумчивостью. Шел в числе первых; никогда не зубрил. Впрочем, разные перебивали в классе ученики — и троечники, и двоечники, и такие, кому вовсе не с руки учиться оказалось в те грозные годы; а зубрили, описанные классиками, вывелись, исчезла для них питательная почва.

С гордостью могу сказать, что иные из тогдашних моих сотоварищей-керчан стали после людьми, о которых знала страна. Но если бы мы в те давние годы предугадывали будущее, конечно, к таким людям отнесли бы Певнева. Уже рано его жизненная дорога казалась неизбежно выбранной. «Физик» — грек Мериакри и «математик», не насмешливо, но почтительно именуемый «Мантисса», Алексей Семенович Васильев, могучий человек, многого ждали от него. В своем ранце он еще в третьем классе приносил то Фламариона, то увесистое «Мироздание» Мейера, то какие-то таблицы астрономических склонений и параллаксом. И как о деле решенном рассуждал о межпланетных полетах — какой сказкой это звучало!

Гражданская война отрезала Кубань от Крыма, Тамань от Керчи.

Когда мы снова свиделись, я почти не узнал его. Покашливал: «Пустяки!»

И сгорел от страшной, неизлечимой тогда болезни — туберкулеза горла.

Я, помнящий, называю его здесь по имени — не надо, чтобы люди уходили бесследно...

Шторма пронеслись, наступили штили, вода лежала под длинным, вдоль косы, песчаным бугром, невесомо-прозрачная, в ней медленно, воздушно перемещались отливающие опалом куполки медуз. Выпархивал рачок-гаммарид — и пошел кувырком, гимнаст-акробат, над целой, вытканной солнечными лучами страной на дне — крошечные ущелья, холмы и скалы, радужные ракушечные домики, змейки следов к пещеркам, бурым рошицам. Так бы и следил часами за событиями в ней, видимой до мельчайших подробностей, вдыхал чистоту простора, свежесть голубоватой мглы, куда наклонно уходила та сияющая страна! По зеленой молодости моей толпились у меня в голове чересчур пышные, торжественно-сказочные сравнения: некие своды, под которые подстилали ускользающий в глубину ковер в узорах отсчитанного и отобранного, особенно крупного песка.

Отчалили затемно, шли за мыс Панагия, оплывавший на крайней южной черте горизонта. Чайки оглушили мяукающими криками у каменных осколков, выдававшихся из воды. Тут, в тени, она была

плотной, тяжелой, лилово-синей — чудилось, зачерпни горстью, оставит след на ладони. И все-таки бездонно-прозрачной, удивительной была эта бездонность в двух шагах от берега.

Круто отвернули к открытому морю. Длинная низка наживленных крючьев скользила из рук, чуть морща гладь, — на поверхности оставался длинный ломаный ряд поплавок-балберок. Крючьями добывали черноморскую акулу, морскую собаку, катрана.

Выгребли прочь, бросили весла. Сняли рубахи.

И тотчас рыбак, чье лицо и шея были выдублены солнцем, делаю его безвозрастным, тихо завел:

Из германского грустного плена...

Будто для одного себя.

Шел калека солдат молодой...

И подхватили вокруг:

Он к селенью родному подходит —
Опустел весь родимый мой дом...

Голоса сплелись и полетели над ширью, где не было ничего, кроме них, только коротенькая вдалеке строчка берега, только жгучее солнце на полпути своем по небу.

О недавнем, о гражданской войне, сложена песня:

«Не считаю тебя я за брата!» —
И винтовку он взял на прицел.
...И свершилось ужасное дело —
Старший младшему сердце пронзил...

— Э-гей! Пора, вытягай!

Зашевелились, надевая через головы рубашки, застегивая робу.

— Оправсь!

И с шутками выстроились у бортов. Море, даже зеркально застывшее, без ряби, не замирает в мертвой неподвижности. Борт пошел вверх от ровного спокойного дыхания белесо-перламутровой, с жилками просини глади — вдох; и со стонущим, всасывающим звуком, вниз — выдох. Чайки еле заметным дымком вились над огрызками камней, точно облитых тусклым, снятым молоком.

Новички, зеленые молоденькие ребята, зря постояли и с пылающими кумачом ушами, не подымая глаз, отошли.

— Да чего ты, братишка? — сказал одному из них рыбак с выдубленным лицом, певун. — И у всех так поначалу. И у меня, и вон у него. Обойдется, все обходится, и это дело обойдется, рыбалкой станешь...

— Ты что, песни слушаешь, любишь, а сам не поешь? — говорил он потом. — Слушай — какая понравится, ту и запоешь... А вот такую знаешь?

Гребя сильно, ровными взмахами, в такт песне, он как будто бы не просто крепко держал, но неприметно ласкал рукоять весла:

...Налила мне рюмку рому
И сказала: «Пей!
Это, детка, слаще меду —
Станешь веселей».

И перевел на другую, тоже старую — про моряцкую долю, про участь жены моряка:

...Горькие пьяницы, голь перекатная —
Вот они все, моряки...

Злая доля не свела — столкнула двоих людей. Семья не в семью, кто прав, кто там виноват, чей будет верх, где гордость человека?

Баба была ты ему непокорная —
Не покорилась вовек.

А море поставило точку и в этой женской судьбе — вот и вся ее победа, ее выигрыш.

Тело бедняжки в волнах колыхается,
Ветки вплелись в волоса, —

с пронзительной силой неслась над волной поминальная песня, песня-реквием.

Вернулись на косу, когда поднялась луна, кинула на море зыбкие маслянистые пятна с черным кляксами вдоль по одной дорожке.

Часть добычи акул отделяли для профессора Н. М. Книповича — он встал во главе азовско-черноморской научно-промысловой экспедиции. А диковинных обитателей — гребневиков, скатов — морских котов с ядовитым шипом на хвосте, морских лисиц — отправляли в банки с формалином другому знаменитому зоологу М. А. Мензбиру в Москву.

Все отчетливее понимал я, какое важное место принадлежало песням в жизни окружающих меня бесстрашных, иной раз бесшабашных, никакого труда и никаких лишений не боящихся людей, связанных крепкой товарищеской спайкой и выручкой. Песен было много, разных, и каждый раз оказывалось, что знают их не то что какие-то отдельные певцы, но все или почти все — становились они частью общей жизни. Случалось, после тяжелых выходов в море, после работы в шторма, что и вынести было по силам лишь двужиль-

ным, выпадали короткие дни разгульного веселья. Тогда гремели плясовые, обычно — украинские. Но чаще слышались задумчиво-грустные песни людей, которым есть о чем подумать, что жизнь не шутка. Нет, сильные, молодые, никакой власти грусти над собой они не давали. А песни грустили. Большею частью старые, слишком недалеко ушло еще это старое и из истории страны, и из личного опыта каждого, тем более отцов и матерей их; рыбачили во множестве семей потомственно. Лишь вчера закончилась гражданская война, белогвардейщина. Трудно изглаживались шрамы разлуки, тянулись кварталы руин...

И не было ничего удивительного в том, что быстро разговор дошел до песни на встрече с тем юношей, простым забродчиком, ради которого я и пытаюсь воскресить в памяти и воображении ту давнюю полосу своей жизни.

Произошло это 15 апреля 1923 года, в последнее время моей работы на Тузле. В хатке-заводе, более чистой — тут помещался наблюдательный пункт Керченской ихтиологической лаборатории, — хранилась аптечка и принимал фельдшер; вечером собрались человек десять. Скучно светила, коптя колечками, когда откручивали фитиль, керосиновая лампочка на дощатой стене, сизыми слоями плавал махорочный дым. Мальчишка, я не курил тогда, и дым ел глаза, от него першило в горле — к этому привык.

Среди пришедших оказался и тот, о ком рассказываю. Вот что я записал о нем. Был он 1903 года, но показался мне, младшему, совсем ребенком. Очевидно, бросалось это в глаза, потому что ровесники, тем более старшие, были для нас совершенно взрослыми. Невысок, отчего в рыбацкой робе выглядел как бы шире. Держался неловко, немного неуклюже, и детское большеглазое широкое лицо контрастировало с толстыми, грубыми рабочими пальцами. Верно, не сам начал, кто-нибудь привел и «представил» его — все это следовало записать гораздо подробнее, но мне, каков я был тогда, такая надобность не приходило в голову — либо самонадеянно рассчитывал на вечность памяти. Но так или иначе он стал говорить о себе и в особенности о том случае, как и м г о р д и л с я (может, и об этом предварил приведший его). Конечно, помогали, направляли рассказы. И руководил вечером, непрерывно куря толстейшие самокрутки, наблюдатель лаборатории В. К. Есипов, — очевидно, для того чтобы показать ему, и привели молодого рыбака.

Вот какой рассказ сложился в итоге.

Сирота, но беспризорным в подлинном смысле не бывал — судьба кидала по нашему югу из города в город, из порта в порт, где всегда брался за работу, что подворачивалась. Меняя город, пробирался в товарняки, в «максимки», — да другие, пассажирские, и не ходили. Удавалось — в теплушку, а нет — на крыши, на тормоза над самыми колесами. На баштанах под Херсоном жилось хорошо, сытно. Там же,

между Херсоном и Одессой, попал на земляные работы. Было это следом за гражданской войной. В обед отстал от ребят, остался один во рву. Степь, ветер, тусклое небо над головой. И такая взяла тоска, и вдруг представилась вся жизнь, как шла она сама по себе, кидая его как щепку...

Вижу это и сейчас очень отчетливо.

С ветром тогда из села долетали к нему обрывки песни — слов не разобрать.

И чтобы дать выход тому, что подкатило, отчего невыносимо сжалось и защемило сердце, он сам с собой тоже запел. Словами и голосом этой тоски и жалости, ища подобрать их, рассказать ими — самому себе про самого себя и «про всех». И как искал, подбирал, как вела песня (не он вел ее, она вела!) — все яснее переставала быть только тоска и жалость, но сквозь них неожиданно проступала радость. Ворвалась, захватила — вскочил «сам не свой».

Побежал к ребятам, встретили смешками: «Тю! Малахольный!», «Ты что, сказился? Откудова соскочил?»

А он, тоже смеясь, спел им.

Спел и нам.

Минуло столько времени, что сегодня я мало что помню о его пении, кроме факта — это б ы л о — да еще общего впечатления. В тот день поздним вечером я лишь кратко записал.

Но, по счастью, нахожу вторую, гораздо более подробную запись, сделанную через шесть лет, в мае 1929 года, когда еще многое оставалось свежо в крепкой молодой памяти. Использую ее. «Шел он плохо, по-бабьи, одним горлом, голос его уже огрубел, он срывался на высоких нотах, у него была странная честная, старательная манера — он давал, как бы предъявлял, показывая ее, только одну мелодию, ноты в о д и н р я д, без всяких завитушек, что так любят деревенские певцы под гармонику». Да, любили и певуны из наших рыбаков...

А мелодия забылась вовсе. Совпадала или нет с той, какая вскоре раздалась повсюду? Ответить не могу, потому что и вопрос был невозможен. Ведь не пел еще никто, по крайней мере у нас, да и кто бы тогда догадался, что запоеут!

Должно быть, Есипов и настоял, чтобы парень сам написал слова. Сунул листок, карандаш. И парень громадными пальцами написал коряво, еле грамотно, все сплошняком, сподряд — значит, и не знал, что стихи пишутся вразбивку. Но удивительная деталь: разделил все на четыре куска и мало что разделил — еще и еще доказывал, что так обязательно нужно!

Листок взял Есипов — хочу вспомнить его добрым словом. Он понимал свои обязанности наблюдателя не узкопрофессионально (измерение, вскрытие рыбы, исследование детрита, сбор планктона, регистрация хода косяков, мест и объема лова в связи с фенологией),

но по традиции русских ученых расширительно: делал фольклорные заметки, составлял словарик рыбацкой речи.

Вряд ли существует этот листок. Хорошо я в тот же вечер тщательно списал, соблюдая все четыре раздела, только не удержался — разбил на стихи.

Вот моя копия.

I

А в саду при долине,
Где поет соловей,
Но а я на чужбине
Позабыт от людей.
Позабыт и заброшен
С молодых юных лет.
Сиротой я остался,
Счастья-доли мне нет.

II

А чужих приласкают,
Приласкают порой,
А меня обижают,
И для всех я чужой.
Чужой на чужбине,
Я без роду живу,
И нигде я себе родного
Уголочка не найду.
Вот нашел уголочек,
Да и тот мне чужой...
Надоела эта жизнь,
Я ищу себе покой.

III

Часто-часто приходилось под открытым небом спать,
Сухари с водой приходилось мне видать.

IV

Ах, голод и холод,
Он меня изморил,
Но я еще молод
И про все позабыл.
Умру я, умру я,
Похоронят меня,

Навеки усну я,
Одинокое дитя.
И никто на могилу
Из родных не придет,
Только ранней зарею
Соловей пропоет.

В записи, сделанной в тот же день, 15 апреля, читаю фразу, сейчас дивящую меня: «Даже фамилии его не знаем!» Называли, верно, просто по имени, но чтобы и Есипов при его дотошности не записал, почти невероятно. Я же был самым младшим — я не решался от себя вставлять вопросы, каких не задавали старшие (что, впрочем, не мешало самонадеянной развязности в другом случае, с другими людьми!). Самым «старшим» был, конечно, Есипов, ученый. А ведь, в сущности, это был тоже совсем молодой человек. Еще ему предстояла поездка в Ленинград, где он окончил географический институт, потом работал на Севере. Дальнейшей судьбы В. К. Есипова я не знаю.

Если же рыбак и расписался на листочке, то уж, разумеется, закорючкой. Тогда стремились расписываться так, в этом был шик, ему подчинялись и шибко и еле грамотные — как мы восхищались хитрейшими иероглифами на казенных бумагах разных начальников, секретарей, делопроизводителей! У каждого был свой, искусно изобретенный и выхоленный «опознавательный знак» — в музыке это назвали бы лейтмотивом...

Да и вечер этот и спешную запись свою я, помню, считал лишь предварительными — непременно хотел еще повидаться с глазу на глаз (хотя, повторяю, никакого особенного значения не придал). Сразу не пришлось, а через несколько дней узнал — расчелся, выбыл — куда? Зачем? Был он перекасти-поле, «галай», как говорили о том, у кого ни кола, ни двора, ни корешка. Нынче здесь, завтра там — в поисках чего? В погоне за какой синей птицей?

Читаю в той первой своей записи: «Безусловно, очень талантливое произведение этого саморodka всем очень понравилось». Значит, м о г л о нравиться? Хотя и догадки не мелькнуло о будущей судьбе услышанного! Наивная чувствительность, сентиментальность, д е т с к о с т ь... Так что же все-таки то было? Свое или присвоенное? «Дитя» — в устах парня лет шестнадцати!

Поэт-песенник, каков был он ни был — вышколенный или трудно выводящий буквы, равно не «голый человек на голой земле» — поет он, пусть не ведая этого, в образной атмосфере, облекающей его. И свободен от нее быть не может. «Das Lied, das aus der Kehle dringt», — «песня, рвущаяся из горла», по Гете, конечно, — «визитная карточка», но никогда не т о л ь к о фотография певца и его состояния в момент пения. Да, это он, спору нет, но притом и еще певшие до него

и вокруг него — в лад образной атмосфере, облегающей и принимающей его: без этого он все равно что не существует.

В противовес этой судьбе, в душах детей, подростков, выброшенных из жизни, огрубевших и ожесточившихся, теплилась тем бережнее хранимая и тем чувствительнее окрашивалась мечта о поправленном детстве. Вот эта выраженная наивным, трогательным словом: «дитя».

Совершенно ясно — должен быть лад между певцом и теми, кто подхватит его песнь. «Плоть от плоти» не пустая фраза.

Я упоминал о первом, разительном впечатлении детскости облика. Еще читаю в своей записи: «Его любили вообще, и тяжелая жизнь поэтому давалась ему, может быть, легче, чем другим».

А манера пения — лишь бы вытянуть в нитку перед слушающим мелодию, безо всякой разухабистости — совпадает, мне кажется, и с простотой слов. Кое в чем они отличны от слышанных потом, полнее, подробней и наивней, ребячливей, без намека на жестокость и цинизм, что налипли к песне.

И это — настойчивое разделение на четыре куска! (Может, и не все сочинил за один раз.) Да и какой был бы смысл присваивать себе сомнительную честь авторства песни, какая вовсе и не стала еще песней?

Есть, надо думать, неременное условие «превращения в песню» — ту, что станет народной, безымянной. Жить близко к сердцевине времени. Таков закон тех, какие надолго западают в память народа.

Ну, а как с другими, краткосрочными? Иной, меньше цены? И тут, очевидно, нужна близость к «горячей точке» времени — пока она была «горячей»: такое «слово» ведь тоже «из песни не выкинешь»!..

А что любая как-то начинается — вещь самоочевидная. Кто-то ее складывает. Только истоки труднее проследить, чем некогда знаменитые истоки Нила. Редкое счастье, удача встретиться с началом песни. Выпало Горькому — он рассказывал «Как сложили песню», привел слова женщины: «Я те, милая, научу песни складывать, как нитку сучить...» (В феврале 1929 года Горький сообщил И. А. Груздеву письмом из Сорренто, что все это — «подлинное описание факта, песню сложила в Арзамасе прислуга... соседа» — председателя земской управы Хотяинцева.) Привел Горький и стихи-отрывки сложеной песни — очевидно, более высокой пробы, чем та, про которую рассказываю. А полетела, как огонь по сухой траве, именно эта. Пели сотни тысяч, знали миллионы. Связалась с беспризорничеством, как гимн и символ, хоть встреченный на Тузле молодой парень прямым беспризорником не бывал.

1903 года рождения — возможно, жив? Где, кем стал? И если попадутся ему эти строки, как бы я просил его отозваться!

Рассказанное — малая примета времени. Но времени, рушившего и воздвигавшего мир, рождая песни.

Этой нечем было пережить асфальтовые котлы-ночлежки, рваные здания разрухи, размалеванные картонные доспехи нэповской романтики ночных бульваров и пивных.

Но, уже мертвую, ее ожидала «Путевка в жизнь». И пустила с экрана в новое, но не зажившей еще памяти, отраженное существование, сообщив как бы второе дыхание.

Я шел ночью по Страстному бульвару. Развалясь на скамье, не пел — орал ее рыжий детина. Клоки мокрых от пьяного пота волос вываливались у него из-под мятой кепки на лоб. Он орал, горланил ее, детскую и тоскливую, в которой нет никакой бравады, бравируя, с пьяным вызовом, как блатную, циничную дерзость. Песни и люди делаются такими, какова прожитая ими жизнь, а детина на Страстном перенял ее от Жигана в кино либо от других жиганчиков с финками, и ему было наплевать или невдомек, что ведь это тоже дети...

А Тузлу через немногие годы после описанного здесь прорвал черноморский шторм, особенно свирепый. Он прорвал и корень ее и «стебель», погрузив на дно дорогу, по которой я пешком ходил в Тамань за хлебом. Остался островок, отрезанный и от кубанского и от крымского берегов двумя проранами. Таким я нахожу его на карте в Большой советской энциклопедии. Коса закончила свое извечное существование.

Все переменялось и в рыбацком селе и в водообмене Черного и Азовского морей. Изменилось при нынешнем размахе значение прежних мест лова.

На островке, однако, еще стоит промысловый поселок, сгрудились строения, и ярчайшие огни его блистают и переливаются, если ясной ночью смотреть из Керчи.

У БРЮСОВА, В ПОЛНОЧЬ

В конце августа 1923 года, поработав еще на Холодной Балке (на Черном море, в сторону Анапы) и в Ачуеве, на Азовском, в плавнях Протоки — рукава Кубани, я приехал в Москву.

Я рассказывал, что некогда, «на заре дней», я уже был в Москве. И что никакой Москвы я тогда так и не увидел. Запомнилась запряженная лошадьми конка, что взбиралась на крутую гору, — догадываюсь, что то был подъем от Трубной площади к Сретенке. Врезались в память тесная дядина квартирка с глухой стеной перед окошком клетушки в Большом Сухаревском переулке, извозчик, на котором меня, пятилетнего, в сильном жару, испуганного и все же любопытствующего, везли, чтобы положить на операционный стол в Морозовской детской больнице. Помнил я и хирурга с сердитыми усами, грозным и добрым лицом, что спас меня, уже обреченного

(«еще бы два-три дня, и стало бы поздно»). К Тимофею Петровичу Краснобаеву, знаменитому врачу, академику Академии медицинских наук, награжденному несколькими орденами (среди них — двумя орденами Ленина), мы с женой зашли в 1949 году: в этом году я, как и он, получил Государственную (тогда — Сталинскую) премию; я — по литературе, он — по медицине. Жил он все в той же старомосковской квартире — коренные москвичи редко меняли жилье — в Малом Каковинском переулке, вблизи Смоленской площади, и, самое удивительное, вспомнил своего давнего крошечного больного, а сколько тысяч детей прошло с той поры, за тридцать лет, через его чудесные руки! Вспомнил, думаю, не столько меня, сколько бурное отчаяние моей матери... Мне же было почти невозможно вообразить, что степенно, серьезно разговаривающий со мной, тоже уже седеющий, угощающий чаем старый человек — «тот» всемогущий, чуть не с молнией в руках, доктор сказочных времен (так же, как и сейчас я не могу отыскать в наизусть знакомом Серебряном бору, с его Татаровским пляжем, множеством москвичей в любой летний день, места для бревенчатого домика «лесной» детской «санатории», куда меня положили после Морозовской больницы — я поправлялся трудно, медленно, еще долгие месяцы не вставал).

Словом, та «Москва» никак не вязалась в моем сознании с дивным городом, сердцем страны, чья легендарная слава гремела над всем земным шаром, городом Ленина, хоть повидать который «краешком глаза», выйти на Красную площадь, к башням Кремля мечтали миллионы.

«Городом-мифом» назвал Москву Валерий Брюсов в стихотворении «У Кремля».

Мы знали: Ленин болен. Но еще свежи были в памяти его речи, доклады, повторяли друг другу его слова, сказанные на пленуме Московского Совета, что из России неповской будет Россия социалистическая. Пройдет болезнь, как прошла тогда, после покушения Каплан!

«Огонек» вышел со стихами Маяковского: «Тенью истемня весенний день, выклеен правительственный бюллетень». «Мы не верим!» — кричали строки, но смысл их был — болезнь серьезна. Но ведь во всем, что совершалось в стране, от великого до малого, в том, как повсюду строилась работа, как принимали посетителей в учреждениях и говорили с ними, в отношениях начальников с подчиненными, в языке приказов и воззваний, во всем движении колесиков исполинского механизма билась живая ленинская мысль, отражались, угадывались ленинские разум и воля. И были неотрывны, неотделимы от происходящего. Я говорю о ясном и всеобщем ощущении тем летом. «Конечно, ты там увидишь Ленина», — ничуть не сомневались товарищи.

Дома решили: мне ехать учиться. Дядя по матери, всю жизнь проработавший в аптеке «у Феррейна», опять предложил (как и некогда, во время моей болезни) остановиться на первых порах у него, в Большом Сухаревском переулке.

Но тут мне приходится признаться еще в одной, скрытой цели поездки.

Я вез исписанные тетрадки.

В семье у нас украинский обиход, родня по отцу — деревенская, с украинским языком, казацкими песнями, лет девяти с чем-то я воспринял Тараса Бульбу, Остапа и Андрия как живых людей, и так захотелось увидеть их, послушать их разговор, что я вдруг начал переключать в диалоги, в драму повесть Гоголя. Попытка инсценировки (как сказали бы сейчас), естественно, далеко не пошла.

Зато на одиннадцатом моем году началось сочинение научно-фантастических «романов». Было здесь и «Путешествие на Северный полюс», и межпланетные корабли, и роман-«прозрение» о предстоящей новой, страшной войне с Германией (а уже шла война четырнадцатого года), начатой словами «главного канцлера»: «Ваша страна занимает место, которое должно принадлежать Германии. Смотрите: когда-то и Австрия, ныне часть Германии...» Таинственные заводы выпускали небызалое вооружение. Войня кончалась разгромом завоевателей. Их страна была разоружена. Заводы смерти взорваны. «Так наступил вечный конец германскому милитаризму» («Катастрофа»). Была осень 1915 года, автору не сравнялось и одиннадцати).

За пять лет сочинено полдюжины таких «романов». Последний, громадный — «Страна чудес» — уже порывал с технической фантастикой, его проникала мечта о девственной, неизуродованной природе, как счастья для человека.

Началась юность. И стихи. Были периоды, когда писалось каждый день. Где бы ни работал, возил с собой тетрадку. Стихи и какие-то лирические очерки, рассказы. Иной раз мне кажется, что до 1923 года я писал больше, чем, не скажу, за всю жизнь, но за два последующих десятилетия. Тетради сшивались из бумажных лоскутков, шли в дело старые приходно-расходные книги — их выпрашивал повсюду и мельчайшим почерком исписывал до последнего краешка, без полей.

Молодой человек наших дней, к чьим услугам радио, телевизор, газеты с миллионными тиражами, с трудом представит оторванность тогдашнего юноши, да еще работавшего не в своем маленьком городе, а где-нибудь на деревенской мельнице или рыбацкой косе, от кипучей жизни в литературных центрах. Журналы попадали в руки случайно. Случайно долетали имена поэтов, писателей, по большей части с ними не связывалось ничего. Слово «провинция», сейчас почти бессмысленное, тогда еще сохраняло силу.

То, что я писал, я читал дома, читал сверстникам-товарищам, их было у меня очень много. Постепенно «скромно» свыкся с тем, что хвалят, списывают, «возлагают надежды». Девушки просят написать для них. Что побуждало к писанию? Как и вначале — стремление пережить снова и снова, разглядеть ближе то радостное, громадное, замечательное, что встретилось, увиделось, подступило из окружающего тебя. Либо как уже свершающееся, либо как предчувствие еще более дивного — до потрясения всего существа, до сжатия сердца. Пересказать праздничное чувство кануна, за которым засияет ослепительное завтра, — чувство это было (я уже говорил) фоном всей тогдашней жизни. Поделиться с теми, кого люблю, чтобы «мое» стало общим. А когда близко увидел героический труд, слитый с могучей стихией моря — труд моряков, рыбаков, — как же потянуло показать то, что переполнило до краев! Но «сделать» что-нибудь «на тему», «смастерить» — никогда не задавался этим, верно — даже бы не понял, что это такое.

Первая сильная любовь — разве можно не писать про горькое ее счастье, про то, что случилось, конечно же, не просто со мной, но, разумеется, впервые вообще с человеком в мире! В это верят, надо полагать, все впервые полюбившие, и не верь они в это свято, как стали бы возможны «Ромео и Джульетта», мировая любовная лирика!

Перед отъездом мама сказала:

— Какие мы с отцом критики? Ты должен прочитывать больше нас понимающим...

Незадолго до этого от старого вокзала в трех или четырех верстах построили ветку в самый город, на Широкий мол. По нынешним масштабам что тут особенного? А тогда казалось чрезвычайным. Строительство железной дороги! Прокладывают новые железные пути! Поезд прямо по улицам: вон откуда поеду!

На Широкий мол ходил весь город. Отец, старый путеец, участник изысканий и постройки многих дорог, мостов, несколько раз водил всю семью. Очевидно, он вспоминал больше ему недоступное: начал слепнуть; сейчас он работал в горкомхозе.

Младший брат, Толя, напутствовал меня:

— Обязательно посмотри реку, лес, слышишь!

Странное напутствие? Вода, зелень... Но мыслями о них было окрашено все керченское детство. Ни кустика не росло в степях, выгорающих летом, засоленных по побережьям. Деревца чахли на тогдашнем бульваре, под верблюжьим горбом Митридата. Сады-оазисы жаждали влаги. «Казенный сад» за городом, у станции, с дубом, который был для нас «исполином лесов», вырубил в разруху. Керченская вода была солонка, к ней долго привыкали приезжие, маясь животами. Так лес и река уходили в царство мечты, превращались в почти немислимые феномены природы.

А ведь всего одиннадцать лет назад был Льгов, окаймленный Сеймом, боры, лески. Но в детстве и юности время течет совсем по иным законам, чем позже. Одиннадцать лет — это чуть не две трети всего прожитого мной, Толя же вообще не мог помнить Льгова, где он лишь родился...

После Керчи, с ее едва 15—20 тысячами оставшихся в разруху жителей, после степного безлюдья Москва показалась огромной, оглушила уличным шумом, грохотом и звоном тогдашних трамваев, поразила толпами, магазинами, лотками, выкриками торгующих, недавно открытым ГУМом, машинами, прокладывающими дорогу среди извозчиков и ломовых, пестротой, смешением старины и новизны, неисчерпаемой многоликостью, сверканьем огней. А ведь была она в несколько раз меньше нынешней, двух-, трех-, лишь кое-где четырехэтажной, здания выше единичны, зато множество одноэтажных и деревянных, оштукатуренных «под белокаменные»; десятиэтажный «небоскреб Нирензее» в Большом Гнездиновском переулке был всемосковской достопримечательностью.

В двух шагах от дядиной квартиры целодневно колыхалось, выступая из берегов вокруг Сухаревой башни, обменивало, покупало, продавало разливанное море: Сухаревка. У Подколокольного на угрюмом пустыре с кирпичными норами еще пряталась, доживая, остатки Хитровки. Руины на месте нынешнего телеграфна облюбовали беспризорные. А дальше по Тверской клуб анархистов призывал заменить «языком Ао» обычный, человеческий.

Но реяло над Кремлем, над Красной площадью красное знамя, рдея и горя ночью в лучах прожектора. За Крымским мостом, ниже, уже, теснее теперешнего, преобразилась полоса вдоль реки, там вырос город сад невиданного облика. На малом пространстве, словно в зеркале, отобразилась страна. Сто — полтора метра — и волшебное перенесешься от оленеводов Севера, с их чумами в тундре, к хлопковым полям Средней Азии, увидишь лебединые шеи верблюдов, овечье руно, чайхану, переливчатые шелка. Только что был в сердце России — и вот пышно-тяжелое изобилие субтропиков. Пушное золото тайги, Байкал, горные и лесные сокровища Приморья, морем омытый, морем живущий Дальний Восток.

Рассказывали, что Всероссийскую сельскохозяйственную выставку посетил мгновенно узнанный народом Ленин.

Гремит оркестр, проходит колонна комсомольцев.

Вечерами бульвары заполнялись рабочими семьями — их переселяли с окраин в дома, квартиры, бывшие особняки богачей. ярко освещены двери рабочих, молодежных клубов. Газеты сообщали о ростках нового быта, об октябринах (вместо крестин), революционных именах, какими нарекали детей.

Знаменитые старые и множество вновь возникавших театров, студий, коллективов оповещали о новаторских постановках: «Жи-

рофле-Жирофля», «Великодушный рогоносец», «Озеро Люль». Спорили о Мейерхольде, о Таирове, о выходе зрелища на площадь. Что должны агитировать и фасады, расписанные остро, стремительно, под стать «Окнам РОСТА».

Обелиск в Александровском саду увековечивал великих мыслителей, борцов за освобождение человечества. «Памятник свободы» высился на Советской площади перед Моссоветом. Барельефы с лозунгами на стенах зданий напоминали о «монументальной пропаганде».

А. Ф. Кони читал в большом зале о встречах с Тургеневым, с Некрасовым — «ввиду очень слабого голоса докладчика просьба соблюдать абсолютную тишину»: нынешних усилителей голоса не существовало. Рядом афиша приглашала на диспут Шкловского с Туркиным о природе кино.

Рубежи мира сдвигались. Реклама Дерулюфта уверяла, что на этих самолетах можно скорее всего, в немногие сутки, долететь до Германии.

А в тихих переулках на лавочках лужали подсолнухи, пели под гармонь «Как родная меня мать провожала...»

Одеты просто, мелькают заношенные гимнастерки, галифе, оставшиеся от войны. И как поражал меня поначалу румянец во всю щеку, «кровь с молоком» у молодежи; «у нас» на смуглых лицах не было такого.

По шикку, разумеется, импортному, каким-то двусторонним билетам, «пуловерам», «бостонам» от «портного Энтина» почти безошибочно опознавались нэпманы.

На Ильинке, на асфальтовом пяточке, как бы в каменном ящике жалась темная кучка, шмыгали, пригнувшись, юркие, безликие, ныряли за спины, выкрикивали: «Даю фунты, франки, доллары! Беру червонцы!» (Вскоре я написал и впервые в жизни напечатал очерк об этой вызвавшей омерзение «черной бирже».)

Новый червонец стоял незыблемо, публиковался курс его, растущий изо дня в день, приращивая новые колечки к длинному хвосту нулей в таких цифрах при пересчете на «совзнаки», что Ленин шуточно назвал их астрономическими, а в просторечии миллионы давно переименовали в «лимоны».

Из ресторанов выплескивался, назойливо прилипая к служу, разымчивый фокстрот «Джон Грей».

Но звуковая накипь не заглушала, не заслоняла основного тона, сразу внятного приезжому, музыкального звука ленинской Москвы. То был «Интернационал». Его играли на митингах, на улицах. Пели стоголосые хоры. Волны его неслись над октябрьской демонстрацией, которой празднично расцветала вся Москва. «Интернационалом» открывали выставки, памятники. И рабочий день Москвы завершали им кремлевские куранты.

Мне надо было подумать о зароботке. В Рахмановском переулке помещалась биржа труда; я встал на учет. Пошел в Главрыбу, на Рождественский бульвар — при расчете в Керчи сколько-то не доплатили, и мое дело было решено сразу, без хмурых взглядов, слов, отчужденно цедимых сквозь зубы, без затребования дополнительных справок из домкома, с места работы и бог весть откуда еще. С улыбкой вспоминаю безмятежное спокойствие, с каким мальчишка (тогдашний я!) принял это: «А как иначе? Раз я прав!» — в чем, быть может, тоже был прав...

Настала пора обратиться к второй (а в душе я считал — уже не главной ли) цели приезда в Москву.

Больше всего я слышал о поэте Валерии Брюсове. Правда, стихов его не водилось ни у кого из знакомых, я знал лишь одно-единственное, напечатанное в газете — «У Кремля» («По снегу тень,— зубцы и башни...»). Но знал я еще, что Брюсов создал один из необычайных институтов необычайного времени — Высший литературно-художественный.

К кому же, как не к Брюсову!

И 10 сентября я отправился во ВЛХИ. Старый особняк со службами охватывал всю внутреннюю сторону глубокого двора на Поварской. Я обогнул дворовый сквер, вошел в вестибюль, и в приглушенном гомоне толпы юношей и девушек, в отрывистых репликах, нарочитых шуточках тотчас охватила особенная, приподнятая и вместе напряженная атмосфера: шли, весь вечер будут идти экзамены. Расписание на стенах сообщало номера аудиторий, фамилии экзаменаторов: профессор Брюсов... профессор Адалис...

Брюсова ждали. Вот он, идет! Я увидел через окно быстро шагающего по двору человека в пальто. Кто-то шел навстречу, приостановились. У того очки с узкими стеклышками, сивый шлейф волос из-под шляпы. Обнялись, расцеловались. Рядом со мной раздалось: «Вячеслав Иванов!» Так, мельком, я увидел и Вячеслава Иванова в последний год его жизни на родине. Он, очевидно, ненадолго приехал в Москву из Баку, где, «замкнувшись в молчание», как поэт, преподавал в университете, все глубже уходя в классическую филологию, «прадионисийство». Революция развела их с Брюсовым. Объятия при летучей встрече, поцелуи были лишь данью издавна сложившемуся ритуалу. Они встретятся еще раз в июне 1924 года. Виктор Андроникович Мануйлов, нынешний замечательный ленинградский историк литературы, лермонтовед, свидетель этой встречи, вынесет тягостное впечатление от мучительного разговора, запомнит фразу: «Прощай, Валерий, я тебя так любил...» А затем отъезд Иванова навсегда, католичество, библиотекарь Ватикана, издавна любимая латынь, скудные, редки стихи, в прозе — стилизация под древнерусские сказания. Брюсова же не стало...

Все это, конечно, станет мне известно много позднее...

Брюсов, раздевшись, обмениваясь на ходу короткими фразами с сопровождающими его, скорым шагом прошел в аудиторию.

Трудно было выбрать более неудачное время для свидания!

Но мне предстоит рассказать, почти как о постороннем, о юнце, в ком еле узнаю себя. Из песни слова не выкинешь...

Можно ли вообще требовать к себе внимания от поэта, о каком, в сущности, не имеешь представления? Вещь невозможная, поступок, сейчас непонятный для меня!

А тот, давно не существующий юнец с упорством решил — раз он очутился в ВЛХИ, непременно добиться своего.

Шли часы. Восемь, девять, десять. Прозвенело где-то в углу одиннадцать. Институт опустел. Наконец распахнулись двери тоже уже пустой аудитории. Брюсов пожал руку кому-то из вышедших с ним, торопливо, прощаясь. И тут юнец перехватил его.

Хмуро, еле глянув, с печатью бесконечной (и вполне понятной) усталости на лице — мне он казался совсем стариком, — Брюсов не отмахнулся, не отказал резко, что мог бы сделать с полным основанием, он просто сказал:

— Скоро двенадцать — какие же стихи?

Юнец, не понимая неловкости, настаивал, не отпускал измотанного человека, твердил о приезде из далекого города.

— Но вы же сами видите... Давайте в другой раз.

И вот точно разорвалась резко брякнутая фраза, невысказанная, дикая:

— Но я пишу гениальные стихи!

Если ты и в самом деле думаешь так, все равно ничто не извиняет тебя!

— Ах, гениальные?!

Все переменилось. Не знаю, многие ли из знаменитых, маститых, признанных, любящих, конечно, литературу (в кругу литераторов мне неизвестен никто, своего дела не любящий), — многие ли в полночь ради самонадеянного мальчишки после рабочего дня и пятичасового вечернего труда экзаменатора поступили бы так, как поступил Брюсов. «Гениальные? Такими они останутся и назавтра, не правда ли?» Но Брюсов не «просто» любил литературу, поэзию, она не была для него «одним из дел».

— Пойдемте, Аделина Ефимовна. — И повернулся от Адалис ко мне: — Идемте.

Мы трое вошли в ректорский кабинет.

Читая стихи — вероятно, в провинциальной, еще школьной, «частящей» манере, — я неотрывно смотрел на Брюсова. Внешность его казалась мне необыкновенной, отличной от внешности других людей — только, если можно так выразиться, не со знаком «плюс». Начать с того, что он никак не походил на придуманного «поэта», какого я рассчитывал встретить. А кроме того... Сейчас, глядя на

портреты (давно привычный облик), я с трудом припоминаю, чем именно Брюсов поразил меня. Поредевший зачес волос над выпуклым лбом, чуть монгольский разрез небольших, глубоко посаженных глаз, еще суровой подчеркивающих тяжесть верхней части сильно удлиненного лица. И в контрасте с этим резкое сужение от скул книзу, к острому клинышку бородки, с аскетической впалостью щек. Складывался в моей голове фантазмагорический образ стального лезвия, скрытого в этом лице.

Он не перебивал, не поправлял манеры чтения, не делал никаких замечаний, кратко бросал: «Еще!»

Я читал стихи «морского цикла». Море, «осеребренное луной». Вешеный шторм, когда оставшиеся на берегу, думая о тех, кто еще не вернулся, вглядываются в непроглядную ревущую темень.

О страшно глухое нам море ночное,
То море, что вечно не спит!

Тут Брюсов приподнял руку, останавливая чтеца, и низким глухим голосом, четко подчеркивая ритм, прочитал сам:

Как хорошо ты, о море ночное —
Здесь лучезарно, там сизо-темно...
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и блещет оно...

На бесконечном, на вольном просторе
Блеск и движение, грохот и гром...

— Тютчев,— кивнул Брюсов Адалис явно не для того, чтобы сообщить нечто ей неизвестное, но точно подчеркивая коротким этим именем какую-то оценку моих стихов, ясную им обоим. Меня же спросил:

— Из поэтов кого вы знаете?

Больше всего значил для меня Лермонтов — его я ставил, мало сказать, выше всех, но и отдельно ото всех. Однако вместо того, чтобы ответить прямо, я стал с гордостью перечислять: Шекспир, Байрон, Шиллер и Гете (обоих последних я упрямо читал по-немецки, опираясь на гимназический курс, и в конце концов достиг некоторой беглости). Русские же — «все», вплоть до Надсона. Я не понял, почему Брюсов не то поежился, не то хмыкнул в густые усы, Адалис же, переглянувшись с ним, улыбнулась (вообще же она держалась сосредоточенно и очень строго). Разве Надсон не последний замечательный русский поэт, как то всеми признано? Разумеется, и для Брюсова это не секрет! Мама рассказывала, как в ее время девушки клали на ночь книжку Надсона под подушку: то был властитель дум, не сравнимый ни с кем.

Брюсов проговорил терпеливо:

— Хорошо. Но это сорокалетняя давность. Что же дальше? Совсем никого в поэзии?

Самоуверенность еще не покидала меня; я даже не покраснел. О более поздней русской поэзии у меня были лишь обрывки сведений. Хрестоматийная «Чайка» Бальмонта, носящаяся с печальными криками над пучиной морской, еще два-три его же стихотворения, насмешливо цитированные в «Русском богатстве» конца прошлого века. Фофанов, Огневцев — сосед Саши Черного по «Чтецу-декламатору». Случайные стихи из редко попадававшихся журналов, но, скажем, в «Мы не верим!» Маяковского ревностнее всего отыскивали информацию — неверно думать, что поэзия резко отличного от прежнего привычного строя сама собой сразу уляжется в неподготовленном сознании, скорее скользнет мимо...

— Ну вот что. Стихи ваши плохи. Очень плохи. Надо выработать вкус; легко это не дается. И прежде всего знать, что делают теперь, что сделали до вас другие. Почитайте хоть Блока. Теперь его все читают.

Что я знал о Блоке? Ровно ничего. «В голубой далекой спаленке» — о «маленьком карлике», над которым у нас посмеивались. В августе 1921 года в читальне, низенькой комнатушке на верхотуре дома с колоннами в конце Приморского бульвара — оконца заполнял грязно-оливковый с ключьями желтоватой пены Керченский пролив, — я прочитал маленькую заметку в газете: 7-го в Петрограде умер поэт Александр Блок. Вот она и заронила в память имя, лишь имя. Но интонация последней фразы Брюсова, выделенной мной, — отстраняющая, с отзвуком каких-то непогашенных счетов, — прозвучала для меня неожиданно и тогда, когда вовсю неведомы были мне сложные отношения двух поэтов с их оттенком, подчас приводящим на ум старую поговорку про двух медведей в одной берлоге.

Брюсов встал. Поднялась и профессор Адалис. Протянув мне руку, он сказал:

— Но что-то в вас есть. Хотите учиться? Я приму вас.

Чем я не воспользовался. Необходимо было работать. Да я и считал, что, закладывая фундамент жизни (как бы ни сложилась она потом), следует учиться «реальному делу». А таким для меня была биология. И сейчас я не меняю мнения, что у человека должно быть за душой д е л о, свое твердое место в трудовом строю, прежде чем он решится «специализироваться по литературе», то есть прежде чем он приобретет право рассказывать другим «о времени и о себе».

Итак, с небес рухнул на землю. Но и жесточайшая рана не сказывается сразу, во всей страшной силе. Пушкин думал, что он только ранен в бедро... Это милосердие природы. Организм оспаривает, даже склонен отрицать происходящее.

«Я читал плохо — на слух он не уловил. А кроме того, столичный житель, ему ведь вовсе чуждо то, о чем я пишу. Кого только не отвергали поначалу!»

Боже мой, дай лишь волю адвокату, сидящему в тебе, и каких только уверток он не насует — и сердитых, и обидчивых, и жалобных, так что выйдешь ты «чище снега альпийских вершин!»

Но случай безнадежный, если ты умеешь слушать одного адвоката и не найдется в тебе же самом прокурора.

Прокурор во мне постепенно набирал силу. Не случись этого, повторяю: следовало бы ставить на себе крест.

Конечно, чуть не тайком от самого себя, так, из любопытства, но я взял в читальне на Петровских линиях сборники Брюсова.

Адвокат пискнул и умолк. Лгать себе стало невозможно. Я не подозревал, что так можно писать стихи. Что существует такая яркость видения, речь чеканной точности и вместе дерзкой смелости, где за каждой строчкой угадывается стук неослабно бодрящей воли. Стихи об огнецветной земле! Нет, тогда я был бы просто не в состоянии ощутить привкус рациональной сухости в них, разглядеть циркуль в бестрепетной руке поэта.

А следом настал черед Блока. Не черед, нет! С непреодолимой силой завладел мною неведомый мне прежде щемяще-певучий мир, открытый великим поэтом, человеком чуткой, обнаженной, как кровоточащая рана, совести, судящей этот мир.

Немногие месяцы оказались для меня равносильны прожитым годам.

Всего два года оставалось звенеть другой изумительной певучей силе — Сергею Есенину. Горжусь тем, что видел, слышал его, живого, был на последнем, потрясающем выступлении его перед отъездом в Ленинград, в том же Доме печати, где так скоро легло его мертвое тело.

Навсегда я благодарен Брюсову за преподанный урок.

Что же означил он для меня?

Вот еще в 1921 году я записал в тетрадке: «Сильное, глубокое чувство само собой перейдет в мелодию, в звуки — в музыку стиха».

И эта ошибка, в которую легко впадают начинающие. Причем легче всего как раз те, кому есть — вернее, еще только будет! — что сказать. Самообман, наивная иллюзия.

Есть что сказать — тут, конечно, главное. Я бы прибавил еще: у тебя должно быть ощущение безусловной, особенной важности того, что хочешь сообщить, чем поделиться, что показываешь людям — как бы впервые увиденное (и почувствованное). Так ты должен думать, верить. Нет этого — ничего нет. Не с чем тебе выходить к людям. Нет оправдания для твоего писания.

Однако «сильное, глубокое чувство», что прежде именовалось вдохновением, лишь предварительное условие, не больше. С ним

одним рука начинает низать на бумагу чужие слова, когда-то у кого-то живые, подлинные, у тебя же фальшивые. И тебе не отличить подлинности от фальши. Потому что только отсюда должен начаться твой кропотливый, не ведающий скидок и послаблений — «семь раз отмерь, один — отрежь» — творческий труд. Назови его трудным путем к самому себе. И к настоящему своему языку. Лабиринты пушкинских рукописей, с их почти несчетными «слоями» перемен, вставок, вычерков, перебеленные черновики, вновь измаранные-перемаранные, — навсегда останутся несравненным примером такого труда в искусстве.

И все это не как самоцель, а чтобы полнее, точнее воплотить пушкинское вдохновение!

Труд, беспощадный к тебе самому, готовый и к неудачам, но не отступающий перед ними. С предельным напряжением внимания, воли, способности к самооценке, невозможный без вкуса, без знания, достигнутого до тебя другими. «Дальними» и «ближними» твоими товарищами.

Так что же это? Мука мученическая? Нет. Труд этот радостен. Потому что он не сводится к «списыванию», лишь бы не «забыть», с чего-то готового, однажды вспыхнувшего и так и застывшего неподвижно, в ожидании, в душе художника: он сам, по мере движения работы, в ее ходе, пристальнее вглядывается в то, что должен передать, яснее и яснее, отчетливее, ближе распознает, живя с этим. Огонь не «однажды вспыхнул», но разгорается ярче, ярче, только так обретая форму и жизнь. Значит, происходит подлинное творчество, настоящее рождение прежде всего бывшего лишь смутным.

Того, кто находится во власти отмеченной выше иллюзии («само скажется»), можно сравнить с человеком, собравшимся в поход, поджав левую ногу. Однако ничего не выиграет и желающий скакать, подогнув правую, на одной левой.

Здесь не место подробно говорить о некогда очень шумной «формальной школе». В нее входили разные люди, иные из них выросли потом в крупнейших знатоков-исследователей. Они обогатили искусствоведение, литературоведение тонкими наблюдениями над мастерством, ценными находками, касающимися природы и многозначности слова (а Горький назвал слово первоэлементом литературы), образа, композиции, сюжетосложения, традиций и новаторства, многого, многого другого.

Но в первые свои времена юные тогда формалисты были способны задорно и бойко объявить искусство не чем иным, как чистым «приемом», комбинацией «форм» и «сюжетов». Помню статью, разбиравшую живой, быстрый, сжатый до нагой простоты пушкинский «Выстрел» — ее уснащали головоломные формулы, чертежи, математические уравнения. Другие писались нарочитым производ-

ственным языком ремесленной мастерской (слово «ремесло» было излюбленным): как «сделана» такая-то «вещь», например, «Шинель» Гоголя. Конечно, это интересно, даже очень интересно — если притом не упускать из виду, во имя чего «сделана». Беда в том, что именно упускалось, чуть не с торжеством упразднялось, но тогда, точно в отместку, смазывались и оценки, все выстраивалось в один ряд, где ничтожное («интересно сработано!») попадало в напарники к великому. Между тем без оценок нет суждения об искусстве.

Лицо художника заслонял безличный «литературный процесс», куда он входил малой частицей, заслоняли «сработанные» им самим вещи.

Даже на заказ сработанные: художник, усвоивший «как делать», во всеоружии приемов, приравнивался к цеховому инженеру, выполняющему спущенный цеху план.

«Как сделано» и ради сугубой утилитарности «как делать»: это тоже была иллюзия, только обратная той, о которой говорилось раньше.

Что же до претензий людей, вовсе не наивных, выдавать касающееся одежды искусства за суть его — без отпечатка страны, народа, народных дум и песен — это, признаюсь, и в первое шумное время формальной школы представлялось мне бессильной наивностью, разговором не о том, пропускающим самое существенное у великих художников. И потому, по правде, мало занимало.

Ходить положено на двух ногах.

Валерий Яковлевич Брюсов умер 9 октября 1924 года, через год с небольшим после той «полночи» во ВЛХИ. Он умер, не дожив до 51 года. А литературное наследие, оставленное им, одним из величайших трудолюбцев русской литературы, огромно.

Он умер от воспаления легких, которое практически еще не умели лечить (от воспаления же легких за 14 лет до того умер Лев Толстой). Помню, как страшно звучало слово «пневмония», как панически боялись его во время испанки 1919 года.

Стихи, реже и реже, я продолжал писать, кое-что печатал, был принят даже в организацию, смешно именуемую «Всесоюз» (Все-русский союз поэтов).

С Аделиной Ефимовной Адалис, поэтессой и переводчиком, мы были после хорошо знакомы «семейно», «домами». Но мне было трудно представить, что это «тот самый» профессор Адалис. Да вряд ли она и узнавала меня. А я не напоминал.

Моим близким другом стал Иван Владимирович Сергеев, рослый красавец, неистощимый и безобидный выдумщик, одаренный литератор, редактор географической серии «Молодой гвардии» и сам автор

поэтических книг о стране, биограф «дедушки Крылова». С Адалис, его женой, они написали пародийную «Историю яхты «Паразит» — мы весело декламировали из «пиратской песни»:

Тарирарам увы! увы!
Эй тум ту хэв хэп хэп!
Красотка Мэри для меня
Варила суп и хлеб.

Сейчас их сын, тоже литератор, Владимир Иванович Сергеев — мой сосед по дому. А в какой-нибудь квартире, на проспекте Мира, бывшей 1-й Мещанской, стоит сразу заметный причудливой необычностью своей архитектуры дом Брюсова, слышно — в нем будет мемориальный музей, давно пора!

В стародворянском особняке по улице Воровского, 52, который, говорят, послужил Льву Толстому прообразом дома Ростовых, мне приходится бывать очень часто. Здесь помещается Союз писателей. Но, бывая там, я никак не могу слить его в своем воображении с удивительным зданием, празднично гулким от старательно и тщательно приглушаемых молодых голосов, куда я пришел в памятный для меня вечер 10 сентября 1923 года.

«В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ...»

Свои «литературные и житейские воспоминания» Тургенев писал через 30 лет после гибели Пушкина и чуть больше четверти века спустя после такой же гибели Лермонтова.

И того и другого он видел живыми, благоговейно, со стороны, всего по два раза — Лермонтов остался в этих воспоминаниях «лицом без речей», единственную же услышанную фразу, произнесенную пушкинским голосом, Тургенев бережно сохранил.

Он был совершенно прав. Любая черточка, сохраненная очевидно, — как бы мостик к двум гениям нашей литературы, чьи имена давно стали легендарными.

В начале моей, долгой уже жизни мне довелось видеть двух замечательных поэтов, имена которых для нынешнего молодого поколения также, надо думать, звучат легендарно. И потому я считаю себя обязанным рассказать то, что сохранила мне память.

Но со времени гибели Есенина минуло больше полувека, а после гибели Маяковского в апреле 1980 года исполнилось полвека.

В свое время я ничего не записывал, по обычному молодому самоуверенному легкомыслию: «никогда не забуду» — ошибка, к сожалению, очень распространенная. И вряд ли от повторения ее удастся предостеречь этими строками тех, кто в будущем станет припоминать встречи с замечательными людьми наших дней. Но хочется

снова и снова повторить: самая твердая память подводит, записывать необходимо — пусть даже справедлив афоризм, что «большое видится на расстоянии»...

Мне остается придирчиво допрашивать память, чтобы ничего не прибавить к тому, что ею действительно сбережено; знаю, что нить рассказа там и сям будет рваться...

Есенина я, вероятно, встречал несколько раз. В ту пору я учился на вечерних Высших государственных литературных курсах. Созданные весной 1924 года, они первоначально помещались в Доме Герцена — литературном доме на Тверском бульваре. Там охотно бывали писатели, поэты; приходили и в гости к нам, на курсы. Имя Есенина гремело. Сокурсники передавали друг другу, где можно хоть повидать, если не послушать поэта, когда он в Москве. Я испытывал на себе всевозрастающее воздействие его поэзии, в моем сознании она отделилась от всех других, даже отличных, стихов, какие тогда писались в изобилии. Я сказал бы старым словом, что к 1925 году я жил под ее обаянием, но нет, разве передаст «обаяние» вторжение в мою жизнь, мучительную власть над ней, до потрясения ее! Я нахожу короткую запись, помеченную 30 сентября 1925 года, в ней я называю Сергея Есенина п е р в ы м русским поэтом, великим...

Так или иначе, я хорошо помню о двух встречах, правильнее — о трех (почему — читатель увидит). И в каждой был передо мной как бы новый, вовсе не похожий человек.

Внизу в Доме Герцена находился знаменитый в Москве, излюбленный в литературных и артистических кругах, описанный не раз, вплоть до булгаковского «Мастера и Маргариты», ресторан. Столики летом стояли на открытой веранде. К ним и подошел щегольски одетый, в песочного цвета костюме. Обликом, повадкой он сразу бросался в глаза; даже «ответственные работники» носили тогда костюмы «от Москвошвея», в ходу были толстовки и френчи, подпоясанные рубашки и косоворотки навыпуск.

Невысокий, статный, с каким-то особенным изяществом во всей фигуре, казалось — не стоившим ему труда, — то была его природа, — он производил впечатление залетевшей экзотической птицы.

Прошелестело: «Есенин!» Его тотчас обступили. Одни держались с угодливой почительностью, другие с наигранной, нарочитой развязностью. Он отвечал небрежными фразами, не снимая шляпы (и шляпа, обыкновенная мягкая шляпа тоже была едва ли не вызывающей редкостью). Я смотрел на него во все глаза, запоминая и смену выражений на лице, то неподвижно застывавшем, то вдруг становившемся совсем открытым, мальчишеским, когда он не сдерживал улыбки или смеха. И выглядел он очень юным, розовощеким, полным той задорной жизненной силы, конца иссякания которой ничто не позволяло предугадать. Видно было, что он сам сознает ее, играет ею, своей пригожестью «первого парня».

Яркие, светлые волосы выбились из-под шляпы, с той же беспечной небрежностью сдвинутой назад (было жарко): и возникла мысль, что, горделиво, напоказ нося заморский наряд, он в то же время не берет его всерьез.

Жадно смотрел на Есенина не один я. Взоры сидящих за столиками то откровенно, то украдкой, исподтишка устремлялись на него. И особенно женщин. С уст на уста переходили удивительные, невероятные, конечно, чудовищно преувеличенные рассказы на тему «Есенин и женщины». И верили им, смаковали их, расцветчивали как раз те, кто особенно шумно проявлял свое мнимое, завистливое возмущение. Приходится признать, что «черный миф» о Есенине во многом обязан... самому Есенину, говорившему в стихах, будто бы о себе, с такой обнаженной откровенностью, так сгущая факты и события, как они вовсе и не могли происходить в действительности. О «лирическом герое» едва слыховали, читали доверчиво: Есенин исповедуется!

И, странно сказать, еще и это влекло к нему, как бабочек на огонь, женские души и сердца, помимо стихов, помимо того, что был он внешне в самом деле хорош...

Вторая, гораздо более значимая встреча.

Было это на Никитском, теперь Суворовском бульваре, в Доме печати, нынешнем Доме журналистов.

Ни мне и никому не приходило в голову, что это оказалось, по всей вероятности, последнее в жизни выступление Сергея Есенина.

Но сразу поразил контраст между э т и м Есениным и тем, в Доме Герцена, как будто ничего общего не было между ними. А ведь прошло ничтожно мало времени.

Поразило отчетливое (и непонятное тогда) ощущение его одиночества, отъединенности...

Дом был битком. А с Есениным поднималась по белой лестнице еще откуда-то взявшаяся, окружавшая его, ввалившаяся толпа. Поджидали у входа? Приехали вместе? Толкотня, все стремились протиснуться поближе, теснее подлигнуть к нему, но не вплотную, соблюдалась некая зона пустоты. По лестнице летел слитный гомон, вырывалось: «Сережа! Сереженька! Сергей Александрович!» Самые смелые, очевидно, крайне молодые, девушки (мне, по юности моей, они представлялись весьма среднего возраста) стремились дотронуться до него, бегло коснуться, чтобы он оглянулся. Он не смотрел. Не поворачивал головы. Ни на что не отвечал в этом щебете и шелесте кругом. Он был один — пока, совсем один, не очутился на эстраде и странным, не к залу, а куда-то вверх обращенным, щемящепевучим, поднятым до надрыва голосом (он и теперь, больше чем полвека спустя, звучит в ушах моих) стал читать стихи.

Голубая кофта. Синие глаза.

Никакой я правды милой не сказал.

«...Затопи ты печку, постели постель,
У меня на сердце без тебя метель».

Снежная замаять крутит бойко,
По полю мчится чужая тройка.
Мчится на тройке чужая младость,
Где мое счастье? Где моя радость?

...Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?
Разлюбил ли тебя не вчера?

Большинство стихотворений еще не печаталось, мы слышали их впервые, он читал одно за другим (многое я забыл), нетерпеливо и вместе безучастно пережидая овации, с капризным, досадливым изломом бровей.

Мне трудно передать, как отзывалась в зале пронзительность стихов, напрягаясь до сверхчеловеческого предела в есенинском чтении: сидевшие, стоявшие в проходах, сгрудившиеся в дверях, все целиком оказались в безраздельной власти человека на эстраде. Он что угодно мог делать с залом. Все, что хотел. Веревки вить. Исчезло ощущение длящегося времени, остался лишь неудержимо хлынувший, все подчиняя себе, лирический поток.

Мы не отдавали себе отчета, да просто не знали о буквальной верности образа — неудержимо хлынувший поток. Что именно на эти месяцы пришлось не ослабление, перед концом, не падение, но небывалый взлет творческой мощи Есенина. Чуть не сотня вещей, в их числе и поэмы, написаны в том одном 1925 году. Лучшее в его наследии.

Тем чудовищнее конец!

Была ночь с 4 на 5 октября, когда непреодолимая лирическая волна подняла, захватила, понесла — семь стихотворений, самое малое, плод той бессонной ночи, будто перо не хотело оторваться от бумаги. И в каждое стихотворение вложен такой заряд, что и сейчас, коснувшись, физически ощущаешь его удар.

Нечто подобное случалось еще с Блоком в пору «Снежной маски». Да возникает в памяти и болдинская осень Пушкина...

Я же, кому посчастливилось быть на прощальном вечере, я никогда больше не встречался так близко, лицом к лицу, с подлинной неизмеримой силой того человеческого дела, которому мы даем имя: поэзия.

...Эту избу на крыльце с собакой
Словно я вижу в последний раз.

Как случилось, что я долго искал и не находил в тогдашних сборниках стихотворения с таким двустушием, со страшными

в жестокой прямоте словами: в п о с л е д н и й р а з? (После я узнал, что было оно напечатано в альманахе «Красная новь» — он не попался мне.) Буквально хлестнули эти слова, навсегда вонзившись в сознание, — но капризна память, я твердил их, не замечая неуловимой метаморфозы: стихи покоряющей силы так или иначе «берешь на себя», как свое внутреннее достояние. «Эту хату», — твердил я и больше не искал, не сверял — вставала в воображении деревня, где жили родные, «хата» была мне тогда роднее, привычней «избы». (Странным образом «сдвиг» постиг не одного меня: очень известный критик, редактор журнала «Красная новь» Александр Воронский испещрил тем же словом «хата» обширную вводную статью к есенинским стихам, в которых всюду стояло «изба»!)

Я хочу сказать еще одно. Знающие сейчас лишь печатного Есенина, возможно, представляют себе другую манеру чтения, чем та, какой он покорял слушателей. Более мягкую, что ли, интимно-доверительную.

А он был трибун. Не уступающий в этом качестве Маяковскому. С иным, чем у того, звонким, но столь же мощным голосом. Слегка раскатывающим «р-р».

Лирик божией милостью, он был поэт-трибун.

И вот в последний раз я снова увидел Есенина. Это было там же, в Доме печати. Непрерывной чередой шли люди и, обогнув невысокий помост, выходили в другую дверь.

В памяти моей эти два события, два «свидания» — с живым, властвующим силой поэзии над сотнями затаивших дыхание и с мертвым — видятся мне очень сближенными, объединенными не только местом, но и временем. Слово прошло между ними всего несколько дней. Вряд ли это так. Точную дату вечера мне сейчас нелегко вспомнить. Известно, что Есенин с конца ноября по 21 декабря находился в больнице. Не «лежал», как говорят о больных, — он покидал палату, бродил по Москве, выдался с людьми, опять возвращался. Уехал в Ленинград 23 декабря, остановился в «Англетере», небольшой гостинице рядом с «Асторией», на Исаакиевской площади. В роковом номере, где осталось ему жить меньше четырех дней — до 27-го...

Вечер в Доме печати едва ли мог состояться в узком промежутке между выходом из клиники и отъездом. Скорее всего в ноябре. Было бы хорошо, если бы нашелся еще кто-то из бывших на этом вечере и припомнил дату точнее, чем удается мне.

Третье, навсегда врезавшееся в память свидание...

На правах «активиста» Дома, где, работая уже два года в газете, я, еще бессемейный, проводил половину вечеров, — я задержался в зале. И долго смотрел на того, кого больше никто никогда не увидит.

Нет, я прежде не встречал такого человека, не знал лежащего на помосте, привезенного сюда из Ленинграда. Снова неведомый, незнакомый, с мертвым зализом прямых, гладких и почему-то очень редких волос над громадным костяным лбом...

Как странно думать, что Есенин лишь четыре года с месяцами пережил Блока, который в нашем представлении принадлежит совсем иному, почти баснословному времени. А что такое четыре года? Прикиньте: давно ли было четыре года назад? Да едва ли не вчера!

И — прихоть истории! — те же четыре года с месяцами отделяют гибель Пушкина от гибели Лермонтова. Двух поэтов, означивших две эпохи литературы (причем весь Лермонтов начался со смерти Пушкина).

И трагической игрой судьбы на тот же самый срок — четыре года с месяцами — Есенина пережил Маяковский...

ВПЕРЕД, ВРЕМЯ!

Кто не жил в двадцатые годы, вряд ли представит себе, что поэт может занимать такое место в сознании современников, в гуще дел, в самой атмосфере своей эпохи, какое занимал Маяковский. Особенно в те четыре года, когда ушел тот, кто единственно мог потягаться с ним, — Есенин.

И до и после были, да и в то самое время жили поэты заслуженной громадной известности. Но не бывало ничего и отдаленно напоминающего вихрь, не унимавшийся вокруг Маяковского.

Выходили газеты — «Известия», «Комсомолка» — со стихами, набранными, как никогда не набирали стихов — «лесенкой», — часто они занимали столько места на газетном листе, сколько отводилось «трех-» и «четырёхколонникам», «подвалам». Стихи, подписанные тем же, решительно всем известным именем, печатали тонкие и толстые журналы; был и «собственный» журнал «Леф» со стихотворной рекламой, строки из которой обратились чуть не в пословицу: «Хорошая книга! А то б с какой стати плохую издавать в Госиздате?»

Одна за другой появлялись книги с обложками, что казались ни на какие другие не похожими.

«Ударный лозунг» Маяковского стал архитектурной деталью нового дома Моссельпрома у Арбатских ворот: «Нигде кроме как в Моссельпроме». И со всех киосков в упор стреляли в толпу рекламы-команды вроде: «Прохожий, стой! Ни шагу мимо: «Ирис прима».

Бытовал фольклор о Маяковском. О его неустанных, фантастических поездках. Как однажды он, не задумываясь, отпаривал выкрики, ядовитые, нарочито по-английски, вопросы «беляков» где-то за рубежом ответом... на грузинском языке. Из уст в уста переходили

рассказы, как живет Маяковский. О шумных яростных словесных перепалках, из которых он выходил победителем, меткими репликами сражая противников. Заучивались его эпиграммы с рифмами — настолько же неожиданными, как и молниеносные удары не в бровь, а в глаз.

Стали неслучайной подробностью городского пейзажа афиши, приглашающие на чтение им стихов, на выступления, лекции, меньше всего академические, с программой, составленной броско, не только не избегая какого-нибудь отнюдь не нежного словца, только что рожденного в уличной «буче», но от себя добавляя подобное же («поматросил и бросил»). И повсюду кидалась в глаза длинная, казалось, необычайная, грохочущая, горящая маячным огнем фамилия, не случайно набранная узкими, высоченными, как башня, буквами. Часто — и на обложках книг — она стояла одна, без имени, будто существует в мире единственный человек, кому под силу обладать такой фамилией, — зачем ему имя? И странно думать, что ведь и отец был Маяковский, и сестры с матерью — Маяковские.

Представление «Клопа» у Мейрхольда (разумеется, Маяковского должен был ставить Мейерхольд!) сопровождалось «летучкой» — она облетела Москву, ее повторяли и те, кто не бывал на спектакле и не собирался бывать:

Гражданин!
 Спешите
 на демонстрацию «Клопа».
 У кассы — хвост,
 в театре толпа.
 Но только
 не злись
 на шутки насекомого.
 Это не про тебя,
 а про твоего знакомого.

Молодежь, комсомольцы, студенты, юноши, девушки штурмовали Политехнический, когда объявлялось выступление «агитатора, горлана-главаря», «революцией мобилизованного и призванного», как он сам скажет о себе в стихах-завещании, обращенных к потомкам, «Во весь голос».

Сколько уже писалось об этих знаменитых вечерах в Политехническом, о безудержных спорах-митингах вокруг прочитанного, когда в ораторском пылу говорилось больше и злее, чем, может быть, хотел и сам выступающий. «Обыкновенный московский весокрушающий диспут» — назвал один из вспоминавших подобные обсуждения.

А Маяковский, боец по самой сути своей, чувствовал себя тут как рыба в воде.

Он подливал масла в огонь. Стихи не создаются, а только «делаются». Тумаки сыпались направо и налево. Станковая, салонная живопись? Но ведь есть кино, плакат, задачи оформления, боевая монументальная роспись Диего Риверы! Литераторы несогласных групп и течений награждались хлесткими определениями, кличками, к иным они так приставали, что и доньше не отдерешь.

А человек, чьим именем полнились «грады и веся», кого узнавали на улицах, — этот человек жил в коммунальной квартире на четыре семьи, в Лубянском проезде. Парадокс? Но он не ощущался. Подавляющее большинство жило тогда так, принимая за норму, во всяком случае, не чувствуя себя обделенными и обиженными.

Но не одни стихи сами по себе были причиной той гремющей, «вихревой» славы. Пусть тотчас возникнет в памяти знаменитое, демонстративное утверждение из автобиографии «агитатора, горлана-главаря»: «Я поэт. Этим и интересен». Однако же кто жил тогда — что делать, их меньше и меньше, я еще отношусь к числу видевших, слышавших, помнящих, — те знают, какой вызывал интерес с а м Маяковский, как много вместе, неразрывно со стихами значила его личность.

Дело обстояло так, что своими стихами он, именно о н с а м, сдавал экзамен перед народом.

А стихи — стихи прокладывали дорогу с боем, и, говоря о них, Маяковский прибегал к военным сравнениям: «...Я прохожу по строчечному фронту. Стихи стоят свинцово-тяжело, готовые и к смерти, и к бессмертной славе. Поэмы замерли, к жерлу прижав жерло нацеленных зияющих заглавий... Готовая рвануться в гике, застыла кавалерия острот, поднявши рифм отточенные пики» («Во весь голос»).

Схватка вокруг них не прекращалась.

Примерно начиная с 1922 года в иных журналах к Маяковскому не обинуясь относили слово «гений».

И какой восторженный смысл это приобретало!

Жизнь молодой страны шла невиданными, прежде никогда не испытанными путями. И нетерпеливо, жадно ожидали, торопили немедленное появление людей-исполинов, гениев, во всех областях — и в литературе, в поэзии!

На страницах одного из тогдашних скоротечных журнальчиков-поденок — кажется, то была «Гостиница для путешественников в прекрасном» — даже перекидывались словом, точно мячиком: «Гегемония гегегениев»!

Я не раз слышал, как, будто по инерции, «гения» примеряли на шумных, литературных собраниях и к только что вернувшегося на родину из эмиграции Андрею Белому. Впрочем, печатный ответ в газете «Новости дня» о первом его выступлении изукрашал каламбур: «И фрак на нем черный, хотя Андрей — Белый».

Нет, разумеется, вовсе не так спорили о Маяковском. Громадность явления была очевидной. И схватка, бой — наиболее точные слова. Равнодушных не оставалось. Жестокие отрицатели стремились все перечеркнуть. За далеким рубежом, в Париже и в Приморских Альпах, к ним примыкал со своей необычной нетерпимостью Бунин. А сколько находилось неприемлющих частично, вслащески «поправлявших»! Поэт и теоретик стиха Г. А. Шенгели выпустил брошюру, отвергавшую самое наглядное в творчестве Маяковского — его новаторство.

Время, умиротворяя страсти, расставляя всех по местам, создает иллюзию идиллической благостности литературного ландшафта. И, оглядываясь назад, мы склонны счесть, что не могли же корифеи прошлых времен не понимать вещей, столь ясных для нас, — не могли же они общаться друг с другом иначе, как с глубоким сочувствием, «сорадованием» и приличными случаям реверансами.

История литературы оказывается, сквозь призму такой иллюзии, щедро мебелированной взаимно многоуважаемыми шкафами, — если допустимо так применить чеховское выражение.

Увы! Это мираж. Достаточно вспомнить раскаленную атмосферу яростной борьбы, согласий и несогласий вокруг некрасовского «Современника». И гораздо более близкую к нам пору Есенина и Маяковского.

Я отчетливо вспоминаю подлинно гигантское воздействие, которое оказывалось стихами плюс личностью их автора.

Его и внешне возвышающаяся над всеми головами фигура неотъемлемо входила в облик тогдашней Москвы.

Он не чурался улицы, любил говор вокруг, шум безостановочного движения. Его непременно встречали на книжных базарах, отличной выдумке тех лет, — они раскидывались на бульварах, часто на Тверском. А Маяковский, следя, как распродают его книги, сосредоточенно и терпеливо надписывал их всем желающим.

Вот он просто широко шагает — прохожие приостанавливаются, оборачиваются вслед, некоторые любопытно сопровождают, соблюдая дистанцию. И подмечают всякую мелочь. Ботинки на толстой подошве, они — в диковинку, еще натягивают в грязь резиновые калоши «Треугольник», как повелось с дореволюционных пор. Палку — ею он размахисто отстукивает по тротуару, а то несет, подвесив петлей рукоятки к локтю...

Помню солнечное весеннее утро 14 апреля 1930 года. И вдруг словно налетевшую черную тень. Точно выстрел, раздавшийся в Лубянской проезд, раскатился по всей Москве. Случилось то, во что нельзя, немисливо поверить: ведь каждая строчка, каждая буква у Маяковского противостояли смерти! И разве он сам резко не

отвергал, не осудил самоубийство в стихах памяти Есенина? Из редакции «Труда», где я работал, то есть из Дворца труда на Солянке, я прибежал домой — мы с женой (два месяца назад я женился) снимали комнату на Малой Лубянке. Знали уже все. Говорили в трамвае. На площади собирались кучки народа. Я видел у Политехнического музея девушек с заплаканными лицами. Казалось, изменился цвет времени.

Все нарастающие толпы провожали медленно движущийся траурный грузовик, оформленный Татлиным (была даже мысль хоронить на лафете).

Когда внезапно опустело место, занимаемое Маяковским, особенно ясно стало, как оно огромно.

Я хочу рассказать об одном из выступлений Маяковского в последний год его жизни.

Было это в том же Доме печати, который стал тогда как бы вторым моим домом.

Здесь я слышал Багрицкого — стоя понуро, он экстатически, во всю силу легких, с заклинающими интонациями выпевал «Думу про Опанаса» — зал казался тесен для него.

Совершенно иначе держался Илья Эренбург. Гость из Европы (приезжал он ненадолго), с молодой художавостью, по-парижски элегантен, он сидел за столом, не пригибаясь к рукописи, а как будто совсем независимо от нее ронял короткие, бесстрастно построенные, остро отточенные фразы, вызывающие представление об остро отточенных карандашах на содержимом в идеальном порядке писательском столе. Фразы с дерзко сталкиваемыми словами (я уже был уязвлен ослепительным словесным мастерством Анатоля Франса — потом это тянулось годы — и стал чуток к стилистическим тонкостям). Произносив реплики действующих лиц немного в нос, с французским призвуком, Эренбург слегка откидывался, встряхивая волосами, обильными у него тогда, закладывая ногу на ногу — это еще подчеркивало непринужденность, даже свободу от рукописи.

Так читал молодой Эренбург.

Читал же он иронические главы «Любви Жанны Ней» — там, конечно, была Франция, Париж, умирал всесветно прославленный своей иронией писатель, перед лицом смерти беспомощно, жалко растерявший все, чему поучал в течение очень долгой жизни. Легко догадаться (но внутренне я никак не мог примириться с этой догадкой) — то был рассказ о конце именно Анатоля Франса; не знаю, остался ли он в том же виде в печатном тексте романа.

Маяковский выступал с только что написанным «Маршем времени». Снял просторный пиджак, аккуратно повесил на спинку стула — так он делал, «работая на эстраде», а зал был невелик, душен,

яблоку негде упасть. Стал, расставив для твердого упора ноги. Если какая-либо поза может характеризовать человека (как наполеоновские скрещенные на груди руки), то Маяковского — именно эта. Таким он снят на множестве фотографий. То, за что в наши дни ратует А. А. Микулин в книжке о долголетию, — не трусца на цыпочках, но упор всей стопой, — было органическим для Маяковского.

Он уже вышел из Лефа, и Леф, точно из него выпустили воздух, опал, обратился в ничто со всеми крайностями своих воззрений.

Но Маяковский оставался Маяковским. И голос его овладел залом.

Читающие «Марш» по книжке не получают от него полного впечатления, какого добивался его создатель. Он не читал, не декламировал — он и с п о л н я л «Марш», пел на простой, сразу «пристающий», говорной мотив — он врезался в мою память, но стихи не принято снабжать нотами, да я и не сумел бы на слух записать музыку. «Марш времени» включен в «Баню»; может быть, в театре он звучит так, как хотел Маяковский.

Власть его над слушателями была такова, что, когда он потребовал, чтобы все подпевали за ним рефрен, это ничуть не удивило, не показалось смешным.

Шагай, страна,
 быстрой, моя,
Коммуна — у ворот!

И вместе с могучим человеком на сцене зал послушно грянул:

Впе-
 ред,
 время!
Вре-
 мя,
 вперед!
На пятилетке премией
Мы —
 сэкономим год!

И опять:

Впе-
 ред,
 вре-
 мя!
Вре-
 мя,
 вперед!

Валентин Катаев эти слова сделает потом заголовком своего романа.

Аплодисменты, овация еще не завершали вечера. На выступлениях Маяковского полагалось обсуждать прослушанное.

Всегда находились несогласные, спорящие, твердившие о непнятности.

Конечно, таких бывало ничтожное меньшинство.

Они оказывались приправой к вечеру, оселком, на котором оттачивались ответные реплики; без них, пожалуй, и для самого Маяковского выступления лишились бы некой краски. (Историки утверждают, что на древнеримских триумфах победоносных полководцев полагалась чуть не штатская должность «клеветника» — без него и триумф был не в триумф.)

Роль острой приправы в Доме печати взял на себя Ростислав Балаев, очеркист, человек небольшого роста, с быстрыми движениями, экзотической внешностью и на редкость безалаберный в быту. Славен он был еще «влечением, родом недуга» непременно возражать докладчику на очень многочисленных тогда журналистских и писательских собраниях и диспутах, куда привлекала его охота поспорить. Не раз попадал он на зубок отчаянным любителям острить, чье племя не переводилось и не переводится в литературной (и окололитературной) среде. Утверждали, к примеру, что именно его за тысячи лет предвидел составитель заповеди: «Не пожелай жены ближнего твоего, ни осла его, ни Валаева» (то есть ни вола его).

Пристрастие к самовыражению не дало ему и на этот раз покою. Со своего кресла, только подняв глаза с поволокой, он заговорил, что никакой высокой поэзии в выслушанном, а частично — исполненном хором он не усматривает, что скорее это похоже на вечер самодеятельности, проводимый клубным затейником, тем более что в таких агитчастьюшках можно зарифмовать любое число куплетов.

Он имел мужество все это договорить в воцарившейся враждебной тишине — попытки прервать говорящего Маяковский останавливал движением руки.

— Кончил, Балаев? (Значит, и он знал фамилию.)

Возмездие последовало мгновенно. Пусть-ка послушает, что и как можно зарифмовать!

Громовым своим голосом с ходу Маяковский обрушил на зал двустушия, сбитые по единой колодке: «Зреют дни как...» с упоминанием Балаева во второй издевательской строке. К сожалению, мне не приходило в голову записывать. А сейчас, через полвека, я вспоминаю лишь три строки в двух двустушиях, понимая, что таким образом эффект того, о чем рассказываю, безвозвратно теряется. Фрагмент: «Зреют дни как дыни» — без парной строки. И только последний целиком:

Зреют дни как арбуз —
Намотайте, Валаев, себе на ус.

Суть заключалась в сокрушительной мгновенности реакции. То было, как спичка, брошенная в пороховую бочку, — зал грохнул, во взрыве хохота и рукоплесканий бесследно развеяв все следы злосчастного валаевского лепета.

Сколько юных стихотворцев пытались писать «под Маяковского» с его знаменитой «лесенкой»! Мой друг, известный поэт-переводчик, а тогда — начинающий, одно время работал со мной вместе в газете «Труд». Он предложил залихватскую, во вкусе времени, «шапку» для материала о рабочих клубах:

Быт глуп,
 быт спит.
Рабклуб,
 бей быт!

Однако редакция, опираясь на испытанную древнюю мудрость, сочла, что дозволенное Юпитеру еще вовсе не дозволено... литсотруднику отдела информации.

Полвека... Сгладились острые углы, на многое мы глядим иными глазами. Исследованы, в частности, истоки, корни в русской литературе необычайного явления — поэзии Маяковского, которая представлялась чуть ли не возникшей «из ничего», на голом месте, как вооруженная Афина-Паллада из головы Зевса.

Нет, эта поэзия тоже впаяна звеном в великую золотую цепь!

За долгие годы, миновавшие с тех пор, было у меня немало новых встреч с людьми, чей след остался в литературе, в науке, в других областях нашей жизни.

О некоторых я рассказал в своих книгах.

О других предстоит рассказать.

Но, думаю, навсегда на совершенно особом месте останется в моем сознании то, о чем рассказано на этих страницах. Я благодарен счастливой судьбе, давшей мне возможность видеть и слышать Есенина и Маяковского, чьи имена для миллионов и миллионов звучат легендарно. Открывая их книги, я по-прежнему за печатными строками вижу и слышу — живых.

Пусть мне выпало это в раннюю мою пору. Но ведь во всей последующей жизни и работе, как бы ни сложились они, сохраняется частица добытого в то молодое, горячее да и решающее для каждого человека, дорогое и невозобновимое время!

Вроде стрелки компаса, с которой придется сверять свой путь. Какой бы ни случился — длинный ли, короткий, простой, прямой или сложный, с изгибами и поворотами...

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Вступление в мир

Страницы воспоминаний

Городок	3
В саду при долине... <i>Как родилась одна песня</i> . .	10
У Брюсова, в полночь	21
«В последний раз...»	34
Вперед, время!	39

Вадим Андреевич Сафонов

ВСТУПЛЕНИЕ В МИР

Редактор **М. М. Жигалова**.

Технический редактор **Е. Н. Щукина**.

Сдано в набор 25.02.83. Подписано к печати 03.05.83. А00668. Формат 70×108^{1/32}. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,02. Тираж 100 000 экз. Изд. № 1354. Зак. № 302. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина, 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

СТРАХОВАНИЕ К БРАКОСОЧЕТАНИЮ

● Родители и другие близкие родственники ребенка могут сделать определенные денежные накопления к такому важному и торжественному событию в жизни юноши или девушки, как вступление в брак.

● Для этого необходимо заключить договор страхования к бракосочетанию.

● Предусмотренная договором страховая сумма будет выплачена застрахованным юноше или девушке при вступлении в зарегистрированный брак (или по достижении ими 25-летнего возраста). Страховая сумма станет хорошим подарком молодоженам, поможет им совершить свадебное путешествие или приобрести кооперативную квартиру, мебель, другие предметы личного пользования и удобства.

● Возраст ребенка на день заключения договора не должен превышать 15 лет.

Уважаемые товарищи!

● Для заключения договора обращайтесь, пожалуйста, к страховому агенту, который обслуживает Вас по месту жительства или по месту Вашей работы, либо в инспекцию Госстраха.

Госстрах РСФСР